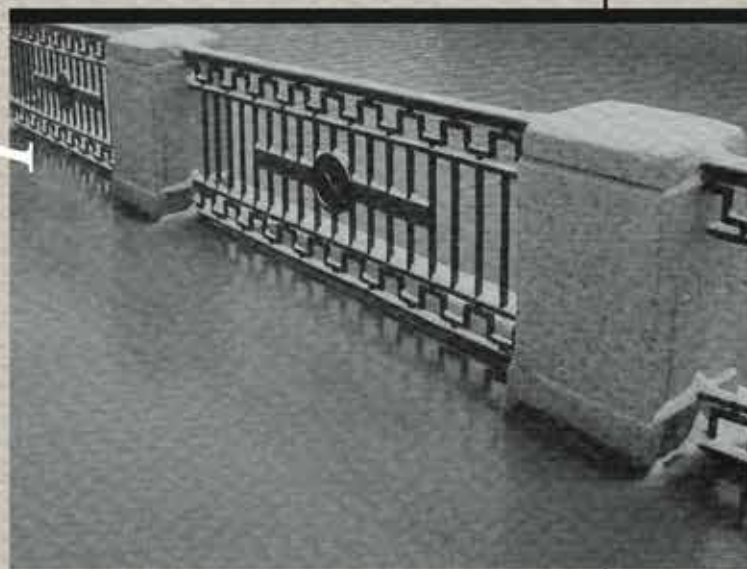


Общая тетрадь

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ



№ 3 (102)

2 0 2 6

ВЕСТНИК
ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая тетрадь

№ 3 (102)



Рига 2026

**Издание выходит
раз в квартал**

Редакционный совет:

А.Н. Архангельский

С.А. Васильев

А.В. Кулешова

А.В. Макаркин

М. Мертес (ФРГ)

С.В. Мошкин

Е.М. Немировская

Ю.П. Сенокосов

А.Ю. Согомонов

А. Хиль-Роблес (Испания)

Дж. Хоскинг (Великобритания)

Главный редактор *Ю.П. Сенокосов*

Редактор *М. Каменская*

Литературный редактор *А. Рощина*

Верстка *В. Матисон*

Содержание

№ 3 (102) 2026

К читателю

- Я не хочу, чтобы люди порождали
друг в друге ненависть* 5
Лена Немировская

Тема номера

- Глобальный хаос. Устойчивость
и гражданская активность* 8
Альваро Хиль-Роблес
- Если мы действуем ради результата,
может, не стоит и начинать* 17
Хакан Алтынай
- Конституции и почему они важны* 23
Мигель Бельтран де Фелипе

Гражданское общество

- Почему демократия?* 34
Валдис Биркавс

Демократизация

- Переход к демократии* 44
Кирилл Rogov
- Испания на грани ультраправой угрозы* 64
Пилар Боне Кардона
- Черная дыра испанского транзита:
нереформированные суды* 69
Хосе Мануэль Гомес Бенитес
- Демократия – первая жертва молчания* 77
Зелимхан Яхиханов

Права человека

- Может ли мировой порядок
основываться на международном праве?* 79
Нилс Муйжниекус, Глеб Богуш

Проблема ИИ

Безголовый ИИ

Юрий Сенокосов 99

*Вступаем ли мы во Второе осевое время? Как
человечеству выжить*

в эпоху искусственного интеллекта

Отто Шармер, Грег Твемлоу 101

*Автономное поле боя: как теперь выглядит
война и что это означает для всех нас*

*Натан Гардельс, Эрик Шмидт, Дэвид Петреус,
Айзек Флэнаган* 106

Опыт истории

Два типа концепции «Никогда больше»

Диана Пинто 110

Из крестьян – в големы

Михаил Минаков 118

Дискуссия

Об эволюции правосознания

Глеб Богуш 125

Книги

Об истории отравленных российских умов

Эндрю Коули 128

Контрапункт

Власть и мораль

Максим Горюнов 131

Я не хочу, чтобы люди порождали друг в друге ненависть

Наш семинар посвящен Александру, Саше Казачкову, и в первую очередь мне хочется вспомнить сейчас именно его. 18 лет назад мы приехали в Сеговию, в замечательное место Торрекабальерос, по приглашению Альваро Хиль-Роблеса. С нами был Саша и другие коллеги по Школе. И в тот приезд мы договорились, что будем проводить здесь семинары. И с тех пор так и происходит всегда в начале лета.

Сеговия — непростое место. Окружающие ее горы помнят войну. Долина Павших находится в Гвадарраме, примерно в 60 км от Мадрида и недалеко от монастыря Эскориал. Это место памяти героев известной войны, которая в историю Европы вошла как Испанская война.

И все-таки о Саше. Саша был нашим постоянным синхронным переводчиком, и он был влюблен Испанию. Он умер от тяжелой болезни. И хотя вот уже год, как его нет, поверьте, он всегда с нами и будет с нами, пока мы живы. Как-то на одном из семинаров я предложила ему работать переводчиком не только с испанского языка, но и с английского, так как он прекрасно владел обоими языками. Саша долго думал. «Ну что, — спрашиваю, — приглашаем другого переводчика или ты будешь переводить?» А он отвечает: «Знаешь, я не могу предать испанский». И отказался.



*Лена Немировская,
соосновательница
Школы гражданского
просвещения*

* Выступление на открытии семинара Школы в Сеговии (Испания) 16 июня 2026 г.

Он был верен языку и верен культуре Испании. И свободно говорил, помимо общепринятого испанского (кастильского) языка, на других диалектах Испании.

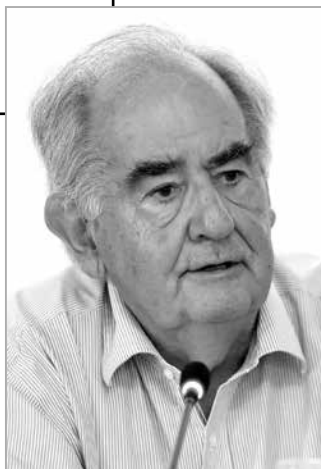
Несколько раз мы вместе с Юрой и Сашей ходили в Барселоне и Мадриде на субботние книжные рынки. И видели, с каким вниманием и интересом он относился ко всему, что там продавалось, и к самим продавцам, у которых Саша покупал не только книги, но и небольшие гравюры, которые нередко тут же дарил нам. Я хочу, чтобы мы чествовали его весь семинар и были благодарны за любовь к Испании, которую он разделил с нами, к ее языку и культуре. И хочу подчеркнуть слово «служить» — так, как Саша служил любимому делу.

Впервые к нам на семинар в Голицыно Альваро приехал в 1994 году. Мы тогда не знали, что, оказывается, бывает такая должность и такая профессия — омбудсмен, то есть уполномоченный по правам человека. Альваро рассказал, что 14 лет был в Испании Комиссаром по правам человека и в результате как независимое должностное лицо, контролирующее соблюдение прав граждан государственными органами власти, потерял всех друзей, кроме короля. И еще сказал, что готов к нам приезжать снова. В конце 1990-х он стал избранным Комиссаром по правам человека Совета Европы. В то время он часто ездил в Чечню. Никто не думал, что после кровавой Чечни будет не менее кровавая Украина, а перед этим Грузия.

Отношение в Школе к Альваро всегда очень заинтересованное. Потому что он один из тех немногих людей, кто, несмотря на все переживаемые нами кризисы, продолжает говорить о демократии как о необходимости, как о чем-то, что обязательно должно случиться в человеческой жизни. Альваро родился в Португалии при Франко, я родилась в Советском Союзе при Сталине. Мы оба хорошо понимаем, почему нужна демократия. Возможно, кому-то это не так очевидно, потому что у него нет опыта переживания диктатуры.

Я не могу перестать поражаться человеческой природе: как человек может убивать людей, взрывать исторические памятники? Я не хочу, чтобы люди порождали друг в друге ненависть, и приветствую всех, кто выбрал другую жизненную позицию. Мы часто задаем вопрос: «А что мы делаем в это трудное время не в России, не в Грузии? Какую другую реальность мы создаем?» Мне кажется важным задуматься об этом и попытаться ответить. Многие готовы сегодня вооружаться, но редко кто готов думать о том, как жить в мирное время.

В нашей Школе мы не транслируем ни одной мысли, которую нужно запомнить. Мы пробуем вести разговор об условиях и возможностях мысли как таковой, чтобы она случилась, чтобы она не была банальной, а была творческой и заполнила собой все. Мысль как произведение искусства. В нее нельзя войти, когда хочется. Она входит при определенном



*Альваро Хиль-Роблес,
юрист, правозащитник,
омбудсмен Испании
(1987–1993), Комиссар по
правам человека Совета
Европы (1999–2006)*

Глобальный хаос. Устойчивость и гражданская активность*

Добро пожаловать на семинар, добро пожаловать в Торрекабальерос, в этот регион Испании, который мы называем Кастилией. Раньше мы называли его Старой Кастилией, а теперь — Кастилией и Леоном. Это земля, полная своей историей, неразрывно связанной со всеми перипетиями, со всей историей нашей страны.

Сегодня для меня довольно тяжелый день, потому что всегда, когда я раньше участвовал в мероприятиях Школы, рядом со мной был выдающийся человек — Саша Казачков. Саша говорил по-испански лучше меня, потому что он был пуристом языка, знал нашу литературу, как никто другой, блестяще переводил и интерпретировал. В лице Саши и его жены Ксаны я обрел настоящих друзей, с которыми мы объездили практически всю Россию. Это были семинары в Голицыно, и это был Ростов, где мы однажды пережили невероятную жару (правда, это сделало нас лишь сильнее), и это была Сибирь. Не буду рассказывать про Санкт-Петербург или озеро Байкал. Саша всегда был рядом. Он был тем человеком, который позволял мне общаться с нашими русскими друзьями. Он ушел, но не насовсем, потому что он по-прежнему с нами, в самом духе Школы. Я и моя жена Мариана сохраним память о нем как о близком друге.

В моем возрасте единственное, что остается, — это искренность, потому что, если нет искренности, все остальное просто не работает. Сегодня я буду говорить об очевидных вещах, которые, уверен, все прекрасно знают, но о которых мы часто забываем. В какой-то мере мои слова — это упражнение для памяти. А без памяти — как в политике, так и в жизни — мы рискуем потерять понимание того, по какому пути нам следует идти в настоящем и будущем.

** Выступление на семинаре Школы в Сеговии (Испания) 16 июня 2026 г.*

Название моей темы — это не лекция, это скорее беседа — говорит о мировом беспорядке. И это правда: вот уже несколько лет мы в нашем западном мире живем в условиях беспорядка. Под беспорядком я понимаю ситуацию, когда то, что мы считали устоявшимся, незыблемым и неоспоримым, вдруг начинает оспариваться и подвергаться сомнению.

Я имею в виду, что мы не можем смотреть на настоящее и — что еще важнее — осознавать нашу ответственность за построение завтрашнего и послезавтрашнего будущего, если не будем четко видеть и понимать, откуда мы пришли. Ведь то, что мы сейчас считаем

*Вот уже несколько лет
мы в нашем западном мире
живем в условиях беспорядка*

в Европе абсолютно нормальным — жизнь в условиях развитой демократии, — не было таковым на протяжении столетий. Фактически тот режим, при котором мы сегодня живем в европейских странах, рожден из огромной боли, рожден из катастрофы.

Если на данный момент мы можем говорить о демократическом порядке, основанном на демократических ценностях, уважении прав человека и человеческого достоинства, как об универсальной системе правления — и особенно как о европейской системе, — то это потому, что старшие поколения пережили два чудовищных кризиса: Первую и Вторую мировые войны. Миллионы погибли исключительно из-за попыток навязать националистические, империалистические, исключаящие другие тоталитарные теории, которые породили такие системы, как нацизм и фашизм. Системы, в которых человек как личность, с его правами, обязанностями и достоинством, просто исчезал. Миллионы смертей — как в ходе войн, так и в результате репрессий.

В 1944 году, во время Второй мировой войны, начал рушиться тоталитаризм в нашем западном мире (но не в России, где сохранилась коммунистическая диктатура), и поколение наших отцов сказало себе твердое «нет», мы больше никогда не допустим мировой войны, мы больше никогда не позволим пренебрегать личностью, человеком, его правами и обязанностями.

Из этого и родилось то, что мы сегодня называем современным мировым порядком. Для меня он опирается на два столпа. Первый — это создание Организации Объединенных Наций, важнейшего элемента. Это центр, где свободные и демократические нации (и некоторые не столь свободные и демократические) согласились собираться для обсуждения проблем сосуществования и разрешения конфликтов. С целью преодолеть националистическое, империалистическое видение, когда страна использует силу для навязывания своих идей, все стали обсуждать проблемы на международной арене, ища консенсус, а не конфронтацию. Это и есть ООН.

Вместе с ООН, с идеей мультилатерализма (многосторонности) появилась и идеологическая составляющая: принятие Всеобщей декларации прав человека. Это великое творение Элеоноры Рузвельт, Рене

Кассена, Жана Монне и многих других наполнило смыслом само существование ООН: не только разрешать конфликты через мир, диалог и взаимопонимание, но и продвигать в странах-участницах уважение к правам человека и демократии как форме правления. Очевидно, что этого не всегда удавалось достичь — достаточно вспомнить, что в ООН входит Китай, не говоря уже о Советском Союзе, которые не были демократическими режимами. Но ООН смогла стать общепризнанной и уважаемой во всем мире платформой для дебатов и разрешения конфликтов. И сегодня эта реальность, к сожалению, находится в глубочайшем кризисе.

*ООН смогла стать
общепризнанной
платформой для дебатов
и разрешения конфликтов*

В Европе мы продолжили эту работу. Мы решили создать уже не в глобальном масштабе, как ООН, а на европейском пространстве нечто большее — союз наций с той же целью: чтобы на европейской земле больше никогда не повторился вооруженный конфликт из-за экономических, империалистических или диктаторских амбиций. Это привело, как вы помните, к появлению экономического объединения — Европейского объединения угля и стали, затем Общего рынка, а сегодня — Европейского союза.

С самого начала было заложено при этом несколько ключевых элементов. Европа задумывалась как попытка перераспределения экономических благ, обеспечения экономического прогресса для всех на принципах социального прогресса и социальной справедливости. Потому что экономический рост не должен быть уделом лишь немногих привилегированных, необходимо вводить корректирующий фактор общего социального интереса, солидарности и развития всего общества, включая самых уязвимых. И наконец, это был политический проект. Страны — участницы европейского проекта взяли на себя обязательство защищать демократию и принимать в свои ряды только те страны, которые действительно живут в условиях демократии, уважают фундаментальные права человека — права всех людей, а не только коренных граждан страны.

Именно на этом фундаменте шаг за шагом и строилась Европа. Этому сопутствовал успех благодаря мощной экономике и социальной сплоченности. Политическая часть давалась сложнее, потому что национальный дух у нас по-прежнему часто преобладает над наднациональным, европейским. Но мы двигались вперед.

Этот европейский проект основан (и это не просто слова, я хочу, чтобы вы об этом помнили) на совместном разделении и защите общих ценностей. То есть принципах, которые объединяют нас и жизненно необходимы для того, чтобы оставаться свободными странами. Позвольте мне напомнить вам статью 2 Договора о Европейском союзе: «Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы,

демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в обществе, характеризующемся плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством между женщинами и мужчинами».

Далее статья 3 гласит: «Целью Союза является содействие миру, его ценностям и благополучию его народов». Это самая суть того, что мы понимаем под европейским проектом.

Потому что в остальном мире сейчас возвращаются и побеждают антиценности. Философия, согласно которой имеет значение лишь национальная политика,

*В остальном мире сейчас
возвращаются и побеждают
антиценности*

опирающаяся на силу; навязывание собственных интересов (в том числе интересов экономических олигархий) с помощью силы либо реализация империалистических идей. Вот что происходит и ставит под угрозу наш европейский проект.

Хочу напомнить, что европейский проект также консолидировался при поддержке Совета Европы, который был создан именно для того, чтобы способствовать продвижению демократии и верховенства права среди более широкого круга европейских стран, выходящего за рамки ЕС.

Может показаться, что речь идет об идилической системе. Но я бы не назвал ее таковой, потому что в Европе у нас много проблем: экономических, социальных. Но у нас есть позвоночник, который объединяет нас перед лицом этих проблем, и политическая воля, которая помогает их преодолевать. Последний пример торжества солидарности — это пандемия, когда вся Европа договорилась поддерживать друг друга в момент кризиса. И это сработало.

Европейский проект подвергался многим напряжениям из-за расширения Союза. В Европе сейчас не очень политкорректно об этом говорить, но, когда мне поручили провести исследование для одного из первых расширений ЕС, я посетил разные страны — Польшу, Венгрию, страны Балтии. И предупреждал, что нет уверенности в том, что некоторые из этих стран автоматически примут и усвоят наши ценности. Однако было принято решение о расширении с расчетом на то, что со временем эти недостатки будут исправлены. На протяжении многих лет такие страны, как Польша или Венгрия, ставили эти базовые ценности под угрозу. Но недавние выборы принесли нам радость: мы увидели, как венгерский и польский народы сказали «нет» продолжению тоталитарного мышления и вернулись к европейским ценностям. Это позитивные знаки.

Однако у нас есть и другие «внутренние демоны», и моя страна здесь не исключение. Что это за «демоны»? Недостаток памяти. Непонимание причин, по которым мы вообще построили Европу. В странах, которые

были глубоко демократическими, возникают антиевропейские, праворадикальные, националистические, расистские и ксенофобские движения, получающие сотни тысяч голосов, — то, что было немыслимо еще 15 лет назад. Это происходит во Франции, в Германии, Скандинавских странах, Испании.

Вероятно, эти движения порождены экономическим кризисом. А также некомпетентностью многих из нас, политиков, оказавшихся неспособными ясно защищать европейский идеал. Я причисляю к ним и себя. Мы совершили огромную ошибку, не донося до молодежи в шко-

*Предстоит важная
работа — объяснить,
что демократию никто
не дарит, ее завоевывают
и защищают*

лах мысль о том, что демократию нужно защищать каждый день. Мы решили, что, раз диктатуры пали, дело сделано. Но это не так. Диктатуры приходят, когда для них созревает социальная питательная среда. Мы забыли объяснить в школах важность защиты системы, в которой твой одноклассник,

независимо от цвета его кожи, религии или происхождения, равен тебе. Поэтому нам предстоит важная работа — вернуться к основам и объяснить, что демократию никто не дарит, ее завоевывают и защищают.

Мой дорогой друг Саша часто говорил мне, когда шел переходный период и распался Советский Союз: «Альваро, не будь оптимистом». А я по натуре оптимист, иначе бы давно умер на этой работе. Я восхищался происходящим, а он отвечал: «Осторожно, Альваро, они вернуться». И они вернулись. Саша был прав. Если не работать над глубинными проблемами, «демоны» возвращаются.

Поэтому Европа, в которой мы живем, — это великое достижение. Завтра мы летим в Париж, Берлин или Стокгольм, имея в кармане лишь удостоверение личности (*carne de identidad*). Мы можем свободно выражать свои мысли. Несколько недель назад Испанию посещал папа Лев XIV, и он сказал: берегите Европу, потому что Европа — это «дар для всей человеческой семьи». Он предупреждал нас: осторожно, вы — пример.

Тот порядок, который мы считали устоявшимся, подвергается сегодня атаке в самом своем фундаменте. И прежде всего со стороны тех, кого мы считали нашими союзниками, — Соединенных Штатов Америки. Они всегда были важнейшей опорой европейского строительства через НАТО и план Маршалла. Новый президент сломал эту схему. Американская администрация не разделяет наших ценностей ни во внутренней, ни в международной политике. Президент прямо сказал: ваша безопасность — это ваши проблемы, Америка превыше всего, а Европа меня не интересует.

И некоторые европейские страны, которые раньше были глубокими атлантистами и верили, что все зависит от США, столкнулись с реальностью: США не собираются ни защищать нас в случае нападения, ни



Николас Байер (Nicolas Baier). Инсталляция с выставки «Хаос и порядок». 2018

оберегать наше экономическое развитие. Те, кто считал главным атлан-тизм, поняли: теперь нужно быть убежденным европейцем или никем. Думаю, мы должны сказать спасибо президенту Трампу: своей грубо-стью он разбудил Европу. Те, кто говорил: «Зачем нам инвестировать в общую оборону?», теперь открыли глаза. Теперь нам нужно извлечь урок и больше не впадать в инфантильную иллюзию, что кто-то будет таскать для нас каштаны из огня.

С другой стороны, у нас есть Российская Федерация во главе с прези-дентом Путиным, которая скатилась в имперский национализм, поро-дивший жестокую войну, основанную на лжи, которая обрекает Украи-ну и саму Россию на огромные жертвы. Власти скрывают гибель солдат. Теперь они платят семьям погибших, по-купая социальное молчание. Но надолго ли? Это продлится лишь до тех пор, пока не начнут призывать детей буржуазии из Москвы и Санкт-Петербурга. США фак-тически бросили Украину в плане военной поддержки, но Европа за-менила их настолько, насколько смогла. И очевидно, что спустя четыре с лишним года огромная империя так и не сломала маленькую нацию. Это очень мощный сигнал.

Мы видим двух президентов, Путина и Трампа, которые неплохо понимают друг друга, потому что их объединяет вера в силу как ин-струмент международной политики. Это огромный вызов для всех

*Мы должны разговаривать
с Россией, как бы тяжело
это ни было*

демократов. Политика слепой веры в силу несет опасность и для тех, кто ее практикует, — тех же США в контексте конфликта с Ираном. Хорошо ли, что США теряют международное влияние из-за таких авантюр? Нет, это плохо для международного порядка и демократии.

Мы должны прийти к двум выводам. Во-первых, европейский проект важен как никогда — как общее пространство мира и как зеркало для других наций. Во-вторых, я оптимист. Я считаю, что нельзя ставить знак равенства между политикой американской администрации и американским народом. Американцы — великий демократический народ, и я уверен, что они искоренят дискурс ненависти, который транслирует нынешний президент.

Точно так же нельзя отождествлять весь российский народ с администрацией диктатора Путина. Это тоже великий народ, и я убежден — здесь я не согласен с пессимизмом Саши, — что Россия снова будет жить в мирные, свободные времена. Когда? Не знаю. Но вечных диктаторов не бывает. Я свято верю, что Россия станет демократической страной. Наш собственный мир зависит от этого.

И я повторю то, что много раз говорил в Совете Европы: мы должны разговаривать с Россией, как бы тяжело это ни было. Мне приходилось разговаривать с Путиным в очень тяжелые моменты чеченской войны. Было ли это легко? Нет. Диктатор больше всего предпочитает изоляцию, потому что боится необходимости вести диалог. Возможно, я уже не увижу изменений, но вы увидите. Работа Школы и всех тех, кто был здесь до вас, очень важна для того, чтобы нести факел демократии.

Дискуссия: вопросы и ответы

Лена Немировская: Спасибо, Альваро. Благодарность — это главное чувство, которое я испытываю. Когда мы готовили этот семинар, мы говорили, что настали тяжелые времена. Слова Альваро важны не только потому, что он верит в то, что говорит, но и потому, что он вложил свою жизнь в защиту демократии и прав человека.

Катя: Спасибо, господин Альваро. Мой вопрос касается диалога с Россией. Диалог сейчас невозможен. Мы пытались его вести, пока были там, и у нас не вышло. У европейских правительств это тоже не вышло, и призывы к демократии и миру не помогают. Оппозиция пытается что-то делать, но без помощи Европы ничего не получается. Как, по-вашему, должен строиться диалог и с кем?

А. Х.-Р.: По-испански это называется «вопрос на миллион». У меня нет готового решения, но я верю в диалог. Россия много лет была частью Совета Европы. Благодаря этому Совет Европы мог работать с Российской Федерацией в сфере реформы правосудия, работала Венецианская комиссия, ЕСПЧ принимал иски граждан в связи с преследованиями в



Люси Глендиннинг (Lucy Glendinning). Вместе. 2021

Чечне. Если Россия соглашалась пустить комиссара в Чечню, то лишь потому, что она была членом Совета Европы. Мы вели диалог с авторитарным правительством — это то, что называется реалполитик: мы говорим не с тем идеалом, которого хотим достичь, а с тем, что есть, чтобы не стало хуже.

Когда началась война в Украине, Совет Европы решил исключить Россию, но Россия успела уйти сама. У меня есть сомнения в разумности этого исхода, потому что была закрыта последняя дверь для российских граждан, через которую они могли получить внешнюю поддержку.

Исчезла защита ЕСПЧ. Совет Европы был площадкой для политического диалога, где не присутствовали Соединенные Штаты, и Путину было легче вести диалог там. Но гиператлантистские страны не успокоились, пока не вышвырнули Россию в темноту. И диктатор с радостью туда

*Диктаторам нужно
оставлять открытую дверь,
чтобы они могли выйти
с неким достоинством*

ушел, потому что теперь над ним нет контроля. А что делать преследуемым внутри России гражданам? Что делать «Мемориалу»? Иногда приходится говорить даже с дьяволом. Я пожимал руку не одному диктатору, а потом

шел мыть руки, но я должен был это делать ради граждан. Диктаторам нужно оставлять открытую дверь, чтобы они могли выйти с неким достоинством.

Владимир: Я счастлив, потому что в мире есть что-то постоянное. Я участвую в этих семинарах уже 26 лет. В 2010 или 2011 году мы проводили совместное мероприятие в Политехническом музее. Меня всегда поражает ваша последовательность: все то, что вы говорили раньше, звучит с той же силой веры и сегодня. Но мне кажется, многие из нас чувствуют, что за 20 или 30 лет жизнь изменилась. Скажите, что принципиально изменилось или трансформировалось в ваших взглядах на человечество, политику и будущее за эти 30 лет?

Участница: Большое спасибо. Я из Грузии. Мой вопрос: как остановить популизм, в том числе в Европе?

А. Х.-Р.: Изменилось ли что-то фундаментально в моих взглядах? Нет. «Демоны», которые сегодня выходят на поверхность с новой силой, всегда присутствовали в жизни человечества: склонность верить в силу, ненависть к иному. Просто после великих кризисов ценности обретают силу для одного-двух поколений, а последующие поколения уже не имеют этого опыта. У них нет памяти, потому что мы им ее не передали. Это ошибка нашего поколения. Тоталитарный дискурс очень привлекателен для молодежи в условиях кризиса, он предлагает простые меры. Наша работа демократов должна быть ежедневной. Остановить популизм очень трудно, потому что он предлагает простые решения для сложных проблем, сеет ненависть. Пример: в Белфасте сумасшедший напал на человека. Он был болен, но он был темнокожим иностранцем. Что делают британские ультраправые? Они провоцируют людей выходить на улицы и сжигать дома соседей. Популизм уничтожает радио. Огромная доля вины за это лежит на политических элитах Европы: социал-демократия в кризисе, консерваторы боятся ультраправых и перенимают их постулаты. Плюс СМИ, которые занимаются информационным отравлением из-за скрытых интересов. Нам нужны независимые журналисты. Гражданское общество, партии, НКО и независимые СМИ должны взять на себя ответственность и реагировать. Большого я сказать не могу.

В современном мире отношения все чаще подменяются транзакциями, а доброжелательность — эффективностью. Но что делает человека человеком в эпоху самопрезентации и цифровой изоляции? Как доброжелательность помещает человеческие взаимодействия в пространство доверия и смысла? И можем ли мы вернуть себе искусство разговора — не ради убеждения, а ради взаимного узнавания? Об этом на семинаре Школы гражданского просвещения рассуждает Хакан Алтынай, президент Всемирной академии гражданственности и бывший турецкий политзаключенный.

Если мы действуем ради результата, может, не стоит и начинать

«Ультиматум» — это экономическая и психологическая игра-эксперимент, которая проводится в разных странах уже более тридцати лет. Представьте: вы идете по улице, кто-то останавливает вас и одновременно еще одного человека. Остановивший вас человек достает из кармана сто евро, протягивает вам и говорит: «Решай, как поделить эти деньги». Решение полностью за вами. Другой участник может либо согласиться с вашим решением — и тогда вы оба получаете оговоренные доли и расходитесь, либо сказать «нет» — и тогда никто из вас ничего не получит, а сто евро вернутся к тому, кто их дал. Самое простое: взять себе 99 евро и отдать другому один. Второй участник, казалось бы, должен согласиться, ведь он получит один евро, которого у него минуту назад не было.

В среднем по миру наблюдается компромиссное разделение: 55 к 45. Люди, принимающие решения, немного склоняются в свою пользу, но при этом не предлагают поделить на 99 и один. Даже пропорции хуже, чем 75 к 25, обычно отвергаются второй стороной. То есть большинство готово пожертвовать личной выгодой — отказаться от 25 евро — ради справедливости.



*Хакан Алтынай,
профессор
Университета
Тафтса, Бостон,
директор-основатель
Европейской школы
политики в Стамбуле*

Таким образом, представление об атомистическом человеке, который сводит все свои интересы к телесным удовольствиям и страданиям и подсчитывает выгоду, как на калькуляторе, не выдерживает критики. Человеческое существо не бежит быстрее всех, не имеет острых зубов, не прыгает выше прочих, но умеет сотрудничать — и в больших группах, и в самых разных контекстах: в семьях, в партиях, в школах. Именно поэтому справедливость естественным образом становится важной частью человеческого сознания и морального словаря.

Милтон Фридман, считавший, что жадность нормальна и выгодна, получил Нобелевскую премию по экономике — но ведь получила ее и Элинор Остром, доказавшая, что разные общества умеют управлять общими ресурсами сообща, без жесткой руки государства.

До сих пор в северных странах существует так называемое *Allemansrätten* (швед.) — право каждого, закрепляющее свободу доступа к природе: там нет заборов и не должно быть. Можно зайти на частную

*Человеческое существо
не бежит быстрее всех
и не имеет острых зубов,
но умеет сотрудничать*

территорию, собрать ягоды, поставить палатку, если она не слишком близко к дому, и пожить в ней пару дней. Частная собственность в этих странах не понимается как абсолютное, неизбежное право.

Вы можете просто подойти — я сам это делал — к дворцу норвежской королевской семьи и позвонить в дверь. Нет ни заборов, ни солдат, которые бы вас остановили.

У нас богатейшая история человечности, но мы словно «пастеризовали» ее, вычистили живое, превратив представление о достойном человеке в карикатуру. Патрик Динан, автор книги *Why Liberalism Failed*, вышедшей в 2018 году, считает, что либеральная современность унаследовала огромный капитал и растранижила его быстрее, чем могла восполнить. Мы хорошо знаем этот принцип из экологии: современность потребляет природные ресурсы быстрее, чем природа успевает их восстановить. Динан говорит и о социальном капитале, который современность тоже израсходовала быстрее, чем могла восстановить: доброжелательность, доверие, чувство товарищества и даже любовь.

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда мы здороваемся друг с другом? Мы жмем руки, киваем, говорим: «Привет!» Рукопожатие — это древнегреческий жест, его смысл в том, чтобы показать: в моей руке нет ножа. Если вспомнить авраамические религии, то почти одни и те же слова звучат и в иудаизме, и в исламе — *rah vobis* (лат.), *shalom aleichem* (иврит) и *salam alaikum* (араб.), — и все они значат: «Я пришел с миром». В Южной Азии говорят: «*Namaste*» (санскрит: «я почитаю божественное в тебе») — и поклон тут же возвращают. Одно из самых красивых приветствий в Южной Африке: «*Sawubona*» (зулу: «я вижу тебя»). Казалось бы, если я тебя приветствую, значит, я тебя уже вижу, зачем это повторять? Но смысл в том, что «я вижу тебя как носителя прав, достоинства и значения».

У майя в Центральной Америке приветствие означает: «Я — это другой ты». А последователи суфийского поэта XIII века Руми, если постучаться к ним в обитель, спрашивают: «Кто там?» Если ответишь: «Это я», дверь не откроют. Нужно сказать: «Это ты». Потому что в дом впускают только того, кто осознал, что мы — одно и то же. Если ты видишь себя отделенным, чужим, тебе не место внутри.

Почему же столь разные народы, культуры и эпохи пришли к одной и той же грамматике приветствия? Может быть, потому, что в начале любого взаимодействия нужна доброжелательность. Без нее все превращается в сделку. А с ней — в отношения.

Современные исследования, например, Лаборатории трудных разговоров при Колумбийском университете показывают: если человек не услышит от собеседника три положительных высказывания, то он не воспримет и его критику в свой адрес. В романтических отношениях этот баланс еще строже, пять к одному: нужно пять раз услышать что-то доброе, прежде чем появится готовность воспринять упрек. Доброжелательность — это основа любых отношений. И отношения начинаются только тогда, когда установлено доброе намерение.

*Без доброжелательности
все превращается в сделку*

Нам необходимо любопытство. Мы должны находить друг друга достойными нашего интереса. Если у нас есть любопытство и готовность создавать доверие, возникает нечто поистине волшебное — разговор. Я рискну сказать, что разговор — это величайшее изобретение человечества. Слово conversation происходит от *con versare* — меняться вместе. Не обязательно сходиться во мнениях, но необходимо соприкоснуться, чтобы я мог проникнуть в твою мысль, а ты — в мою.

Разговор перестает быть разговором, если вероятность того, что ты изменишь меня, равна нулю, а вероятность, что я изменю тебя, реальна. Это уже спор. В споре мы кричим друг на друга, как борцы на арене. Мы начинаем его уже «готовыми продуктами»: я — завершен, ты — завершен, и ничто не может нас сдвинуть. Но разговор — иное. Меняться вместе не значит становиться одинаковыми. Это значит, что наша кожа проницаема: я могу достучаться до тебя, а ты — до меня. Эразм Роттердамский перевел первую фразу из Библии не как «в начале было Слово, и Слово было у Бога», а как «в начале был разговор, и разговор был Богом».

Теперь сравним это с еще одним современным исследованием ученых из Чикагского университета. Обычно люди едут на работу в центр Чикаго на поезде около тридцати минут. Исследователи дали участникам подарочные карты Starbucks на пять долларов как поощрение и разделили на три группы. Участники первой группы должны были вести себя как обычно. Второй — быть более общительными, чем в предыдущий день, и заводить разговоры с незнакомцами. Третьей — наоборот, быть



Питер Кёниг (Peter Koenig). Христос, опрокидывающий столы менял. 2015

менее общительными и не вступать ни с кем в контакт. Перед поездкой участников спрашивали, как, по их мнению, все пройдет, а после — как они себя чувствуют. Самыми пессимистичными вначале были участники второй группы, но именно они в результате были самыми довольными. Выходит, стоит людей чуть-чуть подтолкнуть, и оказывается, что хороший разговор приносит куда больше радости, чем можно было бы ожидать.

Еще одна центральная тема — ответственность. Это слово происходит от *response* — ответ. В русском так же: ответственность — это обязанность дать ответ. Я чувствую ответственность только тогда, когда ты существуешь в моем сознании, в моей моральной вселенной. Если же

тебя там нет, я могу делать все что угодно, не чувствуя вины. Лишь когда мы живем вместе, сталкиваемся с общими испытаниями и формируем общую совесть, возникает подлинная ответственность.

И наконец, — возможно, самая рискованная мысль — любовь. Любовь тоже является основой общества. Но не в смысле голливудских романтических комедий. Мартин Лютер Кинг, размышляя о любви, использовал слово *агаре* — древнегреческий термин, которым в Библии обозначается бескорыстная, всеобъемлющая любовь. У древних греков было еще два слова: *philia* («дружеская привязанность») и *eros* («страсть»). *Eros* — предсказуем, телесен. А *philia* всегда частична: если я испытываю *philia* к России, то, возможно, в чем-то теряю ее по отношению к Германии или Украине; если я болею за «Ливерпуль», то не могу одновременно болеть за «Арсенал».

Агаре же иное. Это любовь, не знающая противопоставления, не исключающая других, любовь как фундаментальное признание нашей общности. Но *агаре* — это, по сути, не романтическая любовь, а, вероятно, то, что сегодня можно назвать доброжелательностью. Любовь как врожденное свойство человека в XXI веке можно выразить так: «Могу ли я искренне желать тебе добра?» Когда в 1963 году в Бирмингеме взорвали баптистский храм на 16-й улице и погибли четыре четырнадцатилетние девочки, Мартин Лютер Кинг не сказал: «Мы не должны ожесточаться, не должны питать желание мстить насилием. Мы не должны терять веру в наших белых братьев. Мы должны как-то верить, что даже самые заблудшие из них способны научиться уважать достоинство и ценность всякой человеческой личности».

Зоран Джинджич, премьер-министр Сербии, говорил своим сторонникам: «Если, глядя на полицейского, вы видите лишь полицейского, а не человека, вы не сможете построить лучшую Сербию». Подобные шаги предпринимали многие: польские епископы, когда 50 лет назад писали письмо немецким епископам; Джон Кеннеди, когда читал свою «Речь о мире» и говорил о русских не как о врагах, а как о людях. Любопытная закономерность: на всех этих людей совершались покушения. Я не знаю, что с этим делать; видимо, когда ты проявляешь слишком много *агаре*, ты становишься мишенью.

Современный философ, живущий в Германии, кореец по происхождению Хан Бён-Чхоль говорит: раньше репрессии заключались в том, чтобы запрещать пытки, тюрьмы, удары; сегодня система угнетает нас тем, что разрешает все, потому что теперь мы сами стали продуктом. Мы непрерывно «продаем себя», вот откуда такая активность в соцсетях. Мы все время стараемся произвести впечатление, показать, какие мы замечательные. И потому мечемся между нарциссизмом, синдромом самозванца и выгоранием. Мы думаем, что мы лучше всех, и одновременно чувствуем, что мы никогда не дотягиваем. Никому больше не нужно нас эксплуатировать — мы сами себя эксплуатируем. А социальные сети зарабатывают на страхе и поляризации.

Это и есть те самые «встречные ветра», которые мешают человеческому взаимопониманию. К ним добавляется искусственный интеллект. Скоро у нас будут чат-боты, которые всегда нас хвалят, никогда не спорят, и мы, возможно, предпочтем дружбу с ними разговору с живыми людьми.

Но сдадимся ли мы? Делаем ли мы то, что мы делаем, лишь потому, что уверены в успехе? Или потому, что не можем не делать? Если мы действуем ради результата, может, не стоит и начинать. Но если мы делаем это с людьми, которых уважаем и любим, если сам путь приносит радость и цель кажется достойной, тогда надо продолжать.

*Не обязательно сходиться
во мнениях, но необходимо
соприкасаться*

Мне 57 лет, и — возможно, это приходит с возрастом — постепенно я понял, что большинство вещей, к которым мы стремимся, так и не будут достигнуты.

И меня это вполне устраивает. Я стремлюсь к ним не потому, что они достижимы. Я делаю это потому, что это достойные цели, за которые стоит бороться. А еще потому, что в этом процессе встречаю необыкновенных людей, и именно их общество вдохновляет меня продолжать.

Участникам нашей Школы в Стамбуле мы говорим: любопытство и хороший разговор — единственные приоритеты. Любопытство — важнее возмущения. В мире есть множество поводов для гнева, но, по моему, мы гневаемся слишком быстро. Надо дать друг другу шанс. Мы предупреждаем: если вы пришли сюда, потому что нашли все ответы и хотите изменить других, вы не туда попали. Но если вы считаете, что жизнь и люди, сидящие с вами в общем кругу, достойны вашего интереса, мы гарантируем вам восемь удивительных дней.

Мы просим участников поэкспериментировать с тем, что такое хороший разговор. А он начинается с умения слушать. Сегодня все учат «ораторскому мастерству», «убойным презентациям», «искусству речи», но никто не учит искусству слушания. Мы часто слушаем лишь для того, чтобы ответить. Ждем, когда человек замолчит, чтобы произнести свою «умную» реплику и показать, как мы начитанны. Но слушаем ли мы, чтобы понять? Что человек хочет сказать? Откуда он говорит?

Слушание — это акт намерения: ты — мой противник, которого я хочу победить, или ты — «другой я», которого я хочу понять? Есть ли в нашем разговоре предпосылка доброй воли? Мы объясняем это участникам в первый день, и, хотя поначалу им это кажется странным, уже через сутки они входят в этот ритм. Наши группы крайне разнообразны: у нас бывают расисты, радикальные националисты, исламисты, ЛГБТ-активисты — все оттенки политических взглядов. Мы провели уже около двадцати пяти таких школ. Я точно знаю момент, когда участники становятся друзьями, и так происходит всегда.

Так что разговор приносит плоды. Хороший разговор — удивительно простая вещь, но его отсутствие имеет колоссальную цену.

Конституции и почему они важны*

В начале я хотел бы кратко рассказать о том, чем конституции являются исторически, и назвать десять их главных характеристик. Далее я подробнее остановлюсь на главной из них — связи между конституциями и демократией. И наконец, я попытаюсь ответить на вопрос, почему конституции так важны. Что заставляет конституции в определенных ситуациях терять способность выполнять свою роль по ограничению государственной власти?

Многое из того, что я скажу, — вещи очевидные, многим хорошо известные, но иногда их необходимо повторять, потому что суть демократии, толерантности и свобод нужно проговаривать снова и снова.

Томас Пейн был англичанином, который уехал в колонии, стал там одним из революционеров и первым теоретически обосновал, что такое конституция и что она должна в себя включать, какие «принципы» и «ценности» — классическое, ортодоксальное, теоретическое содержание либеральных и демократических конституций (в данном случае мы говорим о Конституции США 1787 года). Француз Монтескье переосмыслил английскую теорию разделения властей, предложенную Джоном Локком, и стал одним из вдохновителей Французской революции. Не скажу, что Монтескье ошибался, но его идея о том, что судебная власть, судьи — это власть «невидимая», «нулевая», власть без силы, в итоге оказалась неверной. С течением времени во многих странах судебная система, к счастью, стала реальной силой, ограничителем и противовесом эксцессам политической власти.

Главные элементы конституций: они содержат права человека, определяют дизайн государства (монархия или республика, децентрализованное или



Мигель Бельтран
де Фелипе,
профессор
административного
права, Университет
Кастилии — Ла-Манчи
(Испания)

* Выступление на семинаре Школы в Сеговии (Испания) 17 июня 2026 г.

централизованное) и устанавливают систему сдержек и противовесов — знаменитую американскую систему checks and balances.

Итак, ключевые характеристики конституций.

Во-первых, конституции — это документы, написанные тексты. Суверенная власть собирается и создает документ (как в США после обретения независимости или во Франции после взятия Бастилии). Это справедливо почти для всех стран мира. Существует очень мало государств, у которых есть конституция, но она не написана. Например, в Великобритании нет единого конституционного текста: это традиции, судебные прецеденты и так называемый Law of the Land (закон страны). И общество, и власть подстраивают свои действия под этот неписаный свод правил. Для меня в этом есть нечто магическое. Такую же идею неписаной конституции разделяют Новая Зеландия, отчасти Израиль и Канада (хотя в Канаде появляется все больше писаного права).

Существует очень мало государств, у которых есть конституция, но она не написана

Во-вторых, конституции — это проявление суверенитета. Суверенный народ решает, какой будет его политическая система в настоящем и будущем. Это то, что называется учредительной властью — первичной властью, которая создает рамки для своего поколения

и для последующих поколений. По этой причине конституции должны быть результатом социального консенсуса, общественного договора, с которым согласно все общество или его подавляющее большинство. Это решение суверенного народа (учредительной власти) связывает и обязывает все последующие власти: все те поколения, которые будут выбирать парламенты и правительства, должны будут заниматься политикой, соблюдая правила, установленные суверенной учредительной властью в тексте конституции. Позже мы увидим, почему это так важно. Идея национального или народного суверенитета стала триумфом революций над идеей монархического суверенитета (власти, исходящей от божественного права). Сегодня суверенитет каждой нации ставится под сомнение глобализацией. Трудно сказать, что испанская нация абсолютно суверенна, независима и свободна в принятии решений, потому что она связана международным правом, правом Европейского союза и, конечно же, глобализированной экономикой.

В-третьих, конституции включают в себя ценности, убеждения и принципы. Это ДНК, моральная, философская или идеологическая суть нации. Они могут быть устремлениями: американские отцы-основатели два с половиной века назад прописали «стремление к счастью» как конституционную цель. Многие страны включают в свои конституции такие понятия, как справедливость, свобода, прогресс, равенство. Вторая статья Договора о Европейском союзе перечисляет важнейшие ценности ЕС и входящих в него стран. Какую проблему создают эти ценности и убеждения? Являются ли они реально применимым правом? Можно

ли, опираясь на них, вынести судебное решение и заявить, что некий закон или мера правительства несовместимы с ценностью свободы, демократии или равенства? Как придать юридическую силу таким понятиям, как толерантность, братство, прогресс? Это непросто, но это делается через толкование конституции. И именно это сделал Суд Европейского союза, заявив, что определенные законы Польши и Венгрии несовместимы с ценностями второй статьи Договора. Но для того чтобы прийти к этому, потребовалось много времени и усилий.

В-четвертых, конституции — это огромное игровое поле. Это политическое пространство, в котором могут сосуществовать, сменять друг друга и функционировать различные идеологии, разные правительства, разные политические партии. Это принципиально важно понимать. Если конституция является выражением воли не всего общества, а лишь одной партии или отдельной фракции (левых, правых, буржуазии, пролетариата, знати), то это уже не конституция, это нечто иное. Конституция обладает инклюзивностью. Позже мы обсудим, включает ли она тех, кто с ней не согласен или хочет на нее посягнуть. Приведу в пример Испанию. В Испании в XIX веке было пять конституций. Когда менялось правительство, партия, пришедшая к власти, тут же меняла конституцию, в которой прописывалось, что править может только она, а все остальные исключались. Через некоторое время к власти приходили другие, и они делали ровно то же самое. Это были по сути не конституции (и поэтому они так недолго жили), это были партийные или идеологические манифесты.

В-пятых, конституции — это ограничитель власти. Они ограничивают организованную публичную власть: правительства, парламенты, суды, а также самих граждан. Зачастую правители приходят к власти законным, демократическим путем и начинают думать, что сам факт их избрания народом ставит их выше закона, выше конституции или выше международного права. Это суть конституции — ограничивать власть. Любую — будь то мистер Трамп или любая другая фигура. Естественно, это самый сложный тест на прочность. Как американская конституция, написанная более двухсот лет назад и изменявшаяся крайне редко, может выстоять и противостоять такому лидеру? Мы еще посмотрим, в какой мере конституция, законы и суды смогут выполнить свою функцию ограничения и противовеса по отношению к демократически избранным лидерам, которые имеют авторитарные замашки или склонны игнорировать закон. Но конституции также ограничивают и граждан в частной сфере, например в трудовых отношениях. Казалось бы, там нет государственной власти, есть только компания и ее работники — частное пространство, куда конституция не дотягивается. Ошибаетесь.

*Если конституция
выражает волю не всего
общества, а лишь одной
партии, это уже
не конституция*

Конституция проникает в отношения между частными лицами: между владельцем жилья и арендатором, между работодателем и работником, между преподавателями и студентами.

В-шестых, конституции — это право. Это юридические тексты. Как говорят у нас в Испании, это не «письма Санта-Клаусу». Это не просто красивые декларации без реального применения на практике. Это не программные тексты, которые со временем теряют свою актуальность. Конституции — это нормы права, они связывают всех и применяются на практике. Кем? Прежде всего судами. Здесь мы подходим к вопросу конституционной юстиции. Ее изобрели американцы.

В начале XIX века американский судья по фамилии Маршалл сделал нечто немыслимое для того времени: в 1803 году Верховный суд США аннулировал закон. Только представьте: девять судей, девять человек,

*Закон не может
трогать конституцию,
он ею связан*

не избранных демократическим путем, сочли себя вправе отменить закон, за который демократически проголосовал парламент! Почему Верховный суд смог это сделать? Потому что он заявил: этот закон нарушает конституцию,

он противоречит ей, поэтому я аннулирую закон. В Европе это сочли бы святотатством, это было невозможно. В Европе опирались на идеи Руссо, на эпоху Просвещения: закон — это выражение общей воли, говорил Руссо, закон непогрешим, закон демократичен (пусть даже тогда было цензовое избирательное право только для богатых мужчин). Закон был неприкосновенен, это высшее выражение суверенитета и нации, его нельзя отменить. Но когда над законом мы ставим конституцию и эта конституция является реальным правом, а не письмом Санта-Клаусу, тогда возникают конституционные суды — суды, которые могут отменять законы, аннулировать приговоры и защищать конституционные ценности. В Европе для этого потребовался целый век. Европейской конституционной юстиции не существовало до 1920 года, пока австрийская конституция не была разработана под руководством Ганса Кельзена, юриста еврейского происхождения. Применив (более-менее) американскую теорию, он создал систему конституционной юрисдикции, которая вот уже сто лет присутствует почти во всех странах мира.

В-седьмых, конституции выше обычных законов, которые парламенты принимают каждый год. Это возвращает нас к примеру судьи Маршалла. Разница между испанской конституцией (которой уже почти 50 лет) и законами, которые ежедневно принимает испанский парламент, принципиальна. По своему происхождению конституция — это суверенная учредительная власть, которая в результате общественного договора создает правила игры для разных поколений. Парламент же — это учрежденная власть, власть, которая меняется с каждыми выборами и подчиняется той самой первичной, конституционной власти. Они различаются и по формулировкам: конституция не может быть слишком

точной и конкретной, иначе она исключит из политической игры часть идей и партий. И конституцию очень сложно изменить. Если мы признаем, что она обязывает, что она защищает фундаментальные права и свободы, то обычный закон не может ее поменять. Закон не может трогать конституцию, он ею связан.

В-восьмых, конституции содержат декларации фундаментальных прав: абсолютных, неприкосновенных, вечных — коллективных, индивидуальных и личных. Сегодня эти декларации прав человека в национальных конституциях уже не являются абсолютно автономными — они ограничены и связаны международными договорами: пактами ООН, а в нашем регионе — Европейской конвенцией по правам человека Совета Европы (которую в свое время подписала и Россия).

В-девятых, конституции ригидны, жестки. Они перманентны, стабильны, их трудно изменить. Зачем? Чтобы партии, идеологии и правители не могли менять их в одностороннем порядке, приходя к власти.

Игроки на политическом поле не могут менять правила игры в одиночку. Чтобы изменить конституцию, необходимо заново воссоздать тот же масштабный социальный и политический консенсус, который породил оригинальный текст. Конечно, ситуация варьируется: в США или в Испании изменить конституцию невероятно сложно. А в Германии — нет: немцы меняли свой Основной Закон 1949 года уже 30 или 40 раз. Это зависит от политических традиций каждой страны.

*Конституция, будучи
выражением демократии,
может обладать
антидемократическими
чертами*

Наконец, в-десятых: конституции демократичны. И здесь я хочу задержаться подольше. Это порождает тысячи проблем.

Первая из них: существует множество типов демократии. Есть представительная демократия, есть прямая (ассамблейная). Есть демократии, где власть правителя ограничена по времени (как в США или Южной Америке), а есть демократии, где народу позволено избирать одного и того же человека 20, 30 или 40 лет. Американская система с запретом на несколько сроков так же демократична, как и европейская, где (за исключением Франции) количество сроков неограниченно. Существуют и разные интерпретации прав человека. Например, свобода вероисповедания во Франции с ее принципом светскости (*laïcité*) ведет к запрету религиозных символов в общественных местах (хиджаб, чадор, паранджа). В англосаксонских странах, наоборот, считается, что свобода вероисповедания дает право свободно носить любые видимые символы веры, будь то крест или чадор.

Связь конституции и демократии ставит перед нами две огромные проблемы. Парадоксально, но конституция, будучи выражением демократии, может обладать антидемократическими чертами. Если мы считаем, что демократия — это власть большинства, то конституция

недемократична, потому что она ограничивает волю большинства. Если большинство в какой-то момент захочет законом запретить некую религию — иудаизм, христианство, ислам, — этот закон будет демократическим в том смысле, что он выражает волю большинства через механизмы политического представительства. Но конституция запрещает такой закон! Она говорит парламенту: «Нет, сюда вам вход воспрещен». Права человека выведены из-под контроля демократического законодателя. Конституция защищает меньшинства, защищает преступников (наделяя их правами и ограничивая карательную власть государства), защищает диссидентов и несогласных.

В последние годы в связи с демократией возникают и другие проблемы. Например, так называемая боевая (защищающаяся) демократия. Может ли конституция допускать на политическое поле идеи, которые борются с самой конституцией? Может ли партия, человек или группа идти на демократические выборы с лозунгом: «Я хочу уничтожить конституцию, я хочу уничтожить демократию»? Есть ли в легальном политическом поле место для идей, которые терпели, укрывали или поддерживали политическое насилие, сепаратистский или религиозный терроризм? Может ли открыто расистская организация, такая как Ку-клукс-клан в Соединенных Штатах, прикрываться идеологической свободой и свободой собраний? В США Ку-клукс-клан не является незаконным, это абсолютно легальная ассоциация. В Европе — нет. Обе системы демократичны, но их ответ на политический экстремизм различается. Когда этот экстремизм подстрекает к преступлению или совершает его, американская система реагирует. Но в целом американский подход заключается в том, что идеи сами по себе не являются преступлением и имеют право на существование. В Европе же существуют идеологии (например, нацизм), которые запрещены. Пока в Европе нет партий типа Ку-клукс-клана, но они могут появиться. Вопрос в том, как демократии должны защищаться от антидемократов.

Что происходит, когда демократии скатываются к авторитаризму? Что происходит, когда появляются «внутренние демоны»? Они были всегда, еще со времен античной Греции. В Европе они провоцировали войны и гибель миллионов людей, а сейчас они появляются вновь. Почему это происходит? В 1996 году американец Майкл Сэндел написал книгу «Демократическое недовольство» (*Democracy's Discontent*). Кажется бы, жизнь в западной демократии — а их в мире не так уж много — должна быть поводом для удовлетворения, а не недовольства. Но книга Сэндела имела огромный успех, вызвала массу дебатов, и термин «демократическое недовольство» прочно вошел в политическую теорию. Есть книги Ноама Хомского о «глобальном недовольстве», французские и итальянские труды Ле Гоффа и Галли, в которых используется слово «malestar» («недуг», «недомогание», «дискомфорт»). Что же случилось в западных обществах — в теории в лучших из возможных миров — с

социальными льготами, распределением богатств, свободами и правами, что мы (возможно, слегка преувеличивая) заговорили о недовольстве? Сегодня мы видим, как это недовольство выплескивается наружу через «внутренних демонов», порождая чудовищное противоречие: в Европе — в Дании, Италии, Турции, Польше, Венгрии — есть политические партии, за которые голосуют 20–30% избирателей. Та социальная питательная среда, которая раньше защищала демократию, ослабла, потому что в ней зародились эти «демоны».

Что происходит, когда партия, являющаяся демократической лишь наполовину, выигрывает выборы? Как демократические режимы могут с этим сосуществовать? Стивен Левицкий в 2010 году писал о «гибридных режимах». Формально это демократии — с выборами, судьями, свободами, но при этом с авторитарными тенденциями. Эта тема получила развитие в 2018 году в важнейшей книге Левицкого и Зиблатта «Как умирают демократии». И ответ, который авторы дают на 400 страницах, сокрушителен:

*Демократии умирают
на избирательных участках*

демократии умирают на избирательных участках. Демократии умирают в тот момент, когда граждане реализуют свое демократическое право. Возможно, Левицкий и Зиблатт преувеличивают. Но если посмотреть на результаты выборов в Европе за последние пять — семь лет, они начинают казаться правыми. И это создает серьезные проблемы для западных систем.

Закончу ответом на вопрос, почему конституции важны. Канонический, ортодоксальный ответ — это все то, о чем я рассказывал в начале: потому что конституции — величайшее творение западной цивилизации и европейского Просвещения, потому что они представляют собой самоограничение власти, потому что они гарантируют права и свободы. И мы исходим из того, что конституция — это не просто текст. Вот конституция моей страны, в ней всего 150 статей, некоторые из которых очень краткие. Она не просто текст. Это плод и проявление ценностей, которые общество разделяет и практикует. Таким образом, общество и конституция идут рука об руку (или, по крайней мере, так было в момент учреждения). Страны с демократической, либеральной конституцией являются авангардом цивилизации, и они должны оставаться таковыми.

К сожалению, есть и другой ответ на заданный вопрос — не знаю, более пессимистичный, реалистичный или циничный. Конституции значат мало (или меньше, чем думаем мы, верящие в них). Во-первых, потому что конституции не являются эксклюзивной чертой демократических режимов. Наличие конституции исторически не означает наличия демократии, потому что авторитарные страны часто присваивали себе либеральную идею. Во-вторых, и это главное: ценность конституции может быть ничтожной, потому что по-настоящему демократический режим



Коллектив AES+F. Ангелы-демоны. 2011

может постепенно (по мере появления тех самых «демонов») превратиться в авторитарный режим, и конституция не сможет этому помешать. Примеров масса: фашистская Италия Муссолини была построена без изменения Конституции XIX века. Нацистская Германия выросла в рамках Веймарской конституции. Сможет ли пара бумажек — вроде этих, что есть у нас в Испании, — остановить скатывание в авторитаризм? Что, если общество действительно верит в заложенные в ней ценности, а конституция должна стать тормозом для тоталитаризма? Но иногда это не срабатывает. Вы в России прекрасно это знаете.

Демократическое недовольство и усталость общества должны вызвать нашу реакцию. Мы должны реагировать, чтобы предотвратить авторитарный дрейф консолидированных демократий. Именно для этого абсолютно необходима ваша Школа. Важно, чтобы мы все говорили о ценностях, в которые верим, и были готовы их защищать (даже те несколько слов, что записаны во второй статье Договора о Союзе).

Дискуссия: вопросы и ответы

Лилия, Беларусь: Моя страна — пример того, как конституция не работает и попирается властью. Сейчас демократические силы в изгнании занимаются разработкой проекта новой конституции. Как вы считаете, какие в этом кроются риски, если проект создается частью общества, находящейся не внутри страны, а в изгнании? Может ли такая конституция реально заработать в будущем?

Мария, Грузия: Если правительство само нарушает конституцию и действует неконституционными методами, то кто тогда ее должен защищать? К кому обращаться за помощью?

Михаил, Чехия: Мой вопрос касается дилеммы «курица или яйцо»: как именно должны возникать новые конституции? Мы знаем разные примеры. Что эффективнее: навязать готовый проект конституции сверху, как это иногда делали революционеры (например, в Чехословакии после «бархатной революции»), или же сначала дождаться проведения свободных выборов, сформировать Учредительное собрание и только по их итогам писать конституцию?

М. Б. де Ф.: Вопросы непростые. Начну с последнего: проблема того, как именно зарождается конституция, не описана в жестких теоретических правилах. Каждая страна проходила свой путь: одни конституции возникали после обретения независимости от метрополии (в Америке), другие — в результате войны (как итальянская в 1947-м или немецкая в 1949-м). Фундаментальная проблема здесь заключается в том, как измерить социальный консенсус: когда общество готово двигаться вперед вместе? Готова ли каждая партия поступиться чем-то ради создания системы, в которой твой политический враг и соперник будет обладать той же свободой, что и ты? Конституции, спущенные сверху, могут провалиться, так как им не хватит поддержки граждан. Конституций, рожденных исключительно снизу, не так уж много, и они тоже могут потерпеть крах, если политические элиты решат, что они сшиты по мерке толпы, а не по их мерке. Должен быть базовый социальный консенсус, включающий политические элиты, граждан, богатых, бедных, буржуазию. Если хоть один элемент выпадет, часть общества почувствует себя исключенной, и оттуда полезут «демоны». Единого рецепта нет. Испанский вариант, когда франкистский парламент добровольно проголосовал за самороспуск, уступив место новому политическому классу, практически уникален в истории.

*Фундаментальная
проблема заключается
в том, как измерить
социальный консенсус*

Второй вопрос: кто защищает конституцию? Политологи и юристы спорят об этом уже целый век. В Германии 1920-х и 1930-х годов, во времена Веймарской республики, как раз развернулась знаменитая

полемика на эту тему. Карл Шмитт (который позже стал юристом и был близок к нацистам) утверждал, что конституцию должен защищать тот, кто воплощает национальные ценности, то есть президент республики или избранный народом канцлер. А не какой-то Конституционный суд с непонятно какими судьями. Ему оппонировали юристы Карл Лёвенштейн и Ганс Кельзен, которые говорили: нет, главным стражем и защитником конституции должен быть именно Конституционный суд (а

*Если в гражданах
нет осязаемой воли
знать свою конституцию
и защищать ее, то никто
ее не защитит*

также партии, рядовые судьи и чиновники). Этот теоретический спор ни к чему не привел, и на практике все закончилось приходом к власти Гитлера в 1933 году — после этого защищать стало нечего. Если в гражданах нет осязаемой, реальной воли знать свою конституцию и защищать ее на

избирательных участках, на улицах и в газетах, то никто ее не защитит, когда появятся «скрытые демоны».

И наконец, вопрос о Беларуси. Вы спрашиваете о конституции, которую пишут изгнанники из-за рубежа, какую ценность она имеет? Это зависит от того политического, медийного и социального резонанса, который эти изгнанники смогут создать в мире. Возможно, ее ценность невелика. Приведу пример. В Венесуэле несколько лет назад прошли сфальсифицированные выборы. Оппозиционный кандидат объявил себя реальным победителем, хотя режим Уго Чавеса (или Мадуро, не помню точно, кто тогда был) тоже объявил о победе. Что сделало международное сообщество? Оно признало оппозиционера, некоего Гуайдо, «временно исполняющим обязанности президента». Реальным президентом он не был — власть была у режима. Но Европа и США называли его легитимным главой государства. Помогло ли это? Думаю, нет. Сегодня о нем никто и не вспомнит, он не влияет на возможный переход Венесуэлы к демократии. Если инициатива белорусских изгнанников по созданию демократической конституции останется лишь проектом нескольких человек за рубежом и не будет поддержана оппозицией и обществом внутри Беларуси (если они там есть), то, вероятно, толку от этого будет мало. Это мое, довольно пессимистичное мнение.

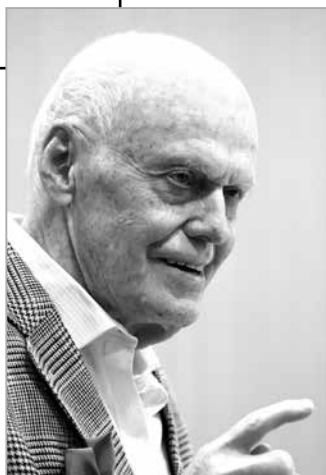
Дарья, журналист: Вы могли бы привести пример хорошей, работающей конституции, которая могла бы послужить ориентиром на будущее, в том числе для российского и белорусского обществ?

М. Б. де Ф.: Конституции — это не идеальные машины, это не автомобильный двигатель, который либо заводится и работает, либо нет. Здесь нет черного и белого, они могут работать в одних аспектах и не работать в других. Что значит «работает»? Если конституция действует долго, значит, она работает? Вероятно, да. В Испании конституции уже почти 50 лет — это самая долговечная из всех семи или восьми конституций,



Мартиньш Даксис (*Mārtiņš Daksis*). Встреча. 2026

что у нас были. Безусловно, сегодня ее можно улучшить, и есть предложения по реформе, но в тот исторический момент она была на вершине политического консенсуса, дальше которой продвинуться было нельзя, иначе договор бы рухнул. В Европе конституции — Италии, Франции, Германии, Испании, Португалии — работали и пока работают в том смысле, что они затрудняют «скрытым демонам» захват абсолютной власти. «Демоны» участвуют в выборах и получают сотни тысяч голосов, но конституционная архитектура пока успешно интегрирует тех, кто хочет постепенно лишить конституцию ее сути. Какие конституции не работали? Те, которые систематически игнорируются судами, законодателями, партиями и гражданами. Во многих странах Южной Америки конституции ничего не стоят: они не допускают сменяемости власти, там нет независимых судов. Если вы почитаете федеральную Конституцию Мексики, вы увидите колоссальное количество статей, гарантирующих социальные права, которых нет ни в Испании, ни в одной стране Европы. Но эти права лишь на бумаге. Это не игра с нулевой суммой: в реальности мы имеем политическую магму, где что-то соблюдается, а что-то нет. И если в Европе система пока держится, то во многом благодаря тому, что соблюдение прав человека и независимость судов контролируются на наднациональном уровне — Советом Европы и Европейским союзом. Не будь их, сценарий был бы совершенно иным.



*Валдис Биркавс,
премьер-министр
Латвии (1993–1994),
министр иностранных
дел (1994–1999),
министр юстиции
(1999–2000)*

Почему демократия?*

Я хочу начать с упоминания очень болезненного, даже трагического события. Завтра будет два месяца, как ушел из жизни последний интеллектуальный мыслитель старой европейской школы. Одна его книга, в которой почти тысяча страниц, спрашивает вместо меня: «Why democracy?» Вы, конечно, понимаете, о ком я. Ему же посвящается и наш семинар. Это Юрген Хабермас.

Для начала один тезис, который стоит обдумать каждому. Хабермас говорит: сила власти не дает силу аргументу, аргумент дает силу власти. Подумайте об этом, когда ищите, чем подтвердить ту или иную мысль, или пытаетесь проанализировать то или иное событие. Как часто вы оказываетесь в ситуации, когда последним и решающим является тот аргумент, которому силу придала власть? А аргумент получает силу только тогда, когда он овладевает большинством. А такие аргументы бывают? Нечасто. И мне тут же вспоминается практически единственный случай, когда аргумент, который можно охарактеризовать словами «земля», «кровь», «этнос», овладевал большинством.

Это было в 1990 году, 4 мая. Когда еще советский парламент Латвии проголосовал за землю, кровь и этнос. Национальный парламент за национальное государство, за национальную идею. И это единство продержалось до политического землетрясения 19 августа 1991 года. До путча в Москве. Через две недели я с коллегами отправился в Москву к Горбачеву, чтобы он отпустил нас на свободу. Между делом Ельцин своим низким басом сказал: «Да не волнуйтесь, ну будете вы свободны, будете». Это было до 6 сентября. А 6 сентября собрался Государственный Совет Советского Союза под руководством Горбачева. Горбачеву не потребовались аргументы. Он сказал: пусть идут.

* Выступление на семинаре Школы в Риге 23 мая 2026 г.

Я вернулся в Ригу и увидел совершенно другую картину. Нет единства. Все разбрелось по своим будущим партиям, по своим будущим и настоящим интересам. И у всех свои аргументы в пользу разнообразных сценариев будущего. Помню ситуацию, когда в парламенте стоял на повестке дня вопрос о приватизации земли в портах, в Рижском порту в частности. Проголосовали против. И сидящий недалеко от меня депутат сказал: «Не получу я землю своей бабушки». Интересы каждого человека редко складываются в единое большинство, которое поддерживается всеми.

Как сделать так, чтобы наши руководители, депутаты, министры решали бы вопросы не как победители? Вы наверняка слышали про удивительный и самый, может быть, популярный мысленный эксперимент американского философа Джона Ролза.

Представим, что я вас накрываю завесой неведения. Забудьте, кто вы. Мужчина вы или женщина. Инвалид или спортсмен. Есть у вас талант или нет. Богаты вы или бедны. Перед вами стоит экзистенциальная проблема. Как будут жить люди дальше? Как будете жить вы сами?

Вариантов по меньшей мере пять. Давайте пройдемся по ним. Мне, кстати, этот мысленный эксперимент напоминает сказку, где фея или какая-то добрая ведьма перед рождением ребенка спрашивает его: «Где ты хочешь родиться? В какой стране?»

Наверняка перед вами стоял подобный вопрос, когда вы были вынуждены решать, куда, в какую страну податься. Какие тут возможны пять вариантов? Первый. Страна, в которой наибольшее количество людей имеет наибольшее количество счастья. Ведь счастье всем нужно. В Бутане даже индекс счастья рассчитывает государство: страна бедная, а уровень счастья очень высокий. Хороший вариант. Это утилитаризм. Наибольшее добро для наибольшего количества людей. Если какая-то небольшая часть несчастлива, скажем 5–10%, ну пусть потерпят, но основная масса будет счастлива. Где подобное было последовательно реализовано? Конечно, в гитлеровской Германии. Ведь согласились же немцы на такую политику.

Но если такая система вам не годится, то можем выбрать другую. Второй вариант. Распределить всем всего понемножку. Чтобы все могли нормально жить. Чтобы всем было хорошо и не было бы ни бедных, ни богатых. Кто постарше, знает, во что превращается такая система. Когда Тэтчер приехала в Советский Союз, она, выступая по телевидению, сказала: «Берегите своих богатых, иначе у вас не будет чем накормить бедных».

Третий вариант. Логично было бы отдать власть самым умным, самым способным. Не обязательно самым богатым, но если они и умные, и способные, и богатые одновременно, то почему не дать им власть?

*Как часто последним
и решающим является тот
аргумент, которому силу
придала власть?*

Меритократия! Где такая существует? Соединенные Штаты Америки. Через конкуренцию, через тяжкий труд, но не только, используя деньги, способности, таланты, — и вперед! Хороший вариант. А ведь Майкл Янг, который, собственно, изобрел меритократию, это слово употреблял иронически. Подобное общество создает новую аристократию с дипломами высших учебных заведений, докторов, и, конечно, с самыми толстыми кошельками. Но она предпочтительна тем, что делает страну богатой и может обеспечить даже самого бедного. Хотя это не всегда происходит.

Есть ли другие варианты? Да, популистские, авторитарные — это четвертый вариант. Мы все знаем страны, где власть заботится о жителях, но в свои дела вмешиваться не позволяет. Это как бы договор: нельзя мешать ей управлять.

И есть одна страна, которая довольно успешно смогла совместить почти все. Эта страна вытащила сотни миллионов людей из бедности.

*Когда Тэтчер приехала
в Советский Союз, она сказала:
«Берегите своих богатых, иначе
у вас не будет чем накормить
бедных»*

Эта страна ежегодно осуждает в судах почти по миллиону коррупционеров. В этой стране уже 5000 лет, как действует принцип квалифицированной бюрократии и умного руководства, подготовленного профессионально. И вы, конечно, дога-

дались, что речь идет о Китае. Тут и наибольшее счастье для большинства. И забота о всех бедных. И меритократия, потому что конкурс в университеты на одно место — 100 тысяч. Это пятый вариант.

В какой из этих пяти описанных систем есть демократия в том виде, в каком ее мыслил Хабермас? Ведь Хабермас так подробно разобрал демократию на элементы, так оригинально построил систему, которую сам прозорливо увидел. Все чаще я думаю о том, почему демократия погибает. И мы свидетели этого. Мы живем в условиях, где разрушаются два, даже три основных понятия Хабермаса. Каково его основное положение? Это — стратегическое действие и коммуникация. Ведь что мы, люди, делаем? Мы постоянно разговариваем. Так вот, стратегическое действие — это когда ты хочешь использовать других для достижения собственных целей. Это давление, это пропаганда, это социальные сети. Это все то, что необходимо и используется, но это не коммуникация. Коммуникация, коммуникативное действие — это когда разумные люди, используя особые процедуры, ведут разговор для того, чтобы найти компромисс. Коммуникация — это кислород демократии. Ведь пока есть демократия, люди дышат и не думают о том, что они дышат. А как только воздуха начинает не хватать, сразу вспоминают о нем.

Или вода — каждый день есть, а потом вдруг раз — и нет. Ни горячей, ни холодной. Горячая и холодная вода демократии — это еще два понятия Хабермаса. Это жизненный мир. Повседневная жизнь. В нее не должны вмешиваться ни власть, ни деньги, чтобы пытаться ее изменить.

Учиться в университете — нормально. Например, кто-то отправился в Соединенные Штаты, поступил в университет в Техасе, чтобы изучать, скажем, греческую философию, а там запретили Платона. 40% лекций подвергли цензурированию, чтобы студентов не обучали тому, что не нравится доминирующим политическим силам. Это и есть вмешательство в жизненный мир человека. Когда запрещают определенные темы, определенные слова, даже определенные языки становятся нежелательными. Когда путем стратегических действий, маркетинга, пропаганды, давления, с помощью всех политических методов начинают вмешиваться в жизненный мир человека, происходит его колонизация.

Такая же колонизация происходит с публичной сферой. Что такое публичная сфера? Это еще одно понятие Хабермаса. Это в буквальном смысле слова место, где общество обсуждает собственные проблемы. Это и древнегреческие агоры в городах — площади, где народ собирался. Это и европейские кафе, это и парламенты, это и университеты. Это те места, где люди свободно обсуждают проблемы общества. А когда государство, используя государственные ресурсы, начинает разрушать эти публичные места, эту публичную сферу, происходит колонизация. Колонизация публичной сферы означает то же, что и колонизация жизненного мира человека, — деградацию, а в конечном итоге и гибель демократии.

Я полагаю, что при желании можно найти в разных источниках десятки доказательств. Так система юстиции политизируется и деградирует. Проводятся специальные исследования по всему миру, которые это доказывают. Шведский институт демократии регулярно проводит исследования по 180 странам, которые четко показывают, что параметры демократии (а их десятки, подходящие для измерения) становятся все более скромными. И одна зависимость четко видна: как только или ограничивается, или разрушается публичная сфера, растет коррупция. Коррупция растет обратно пропорционально: меньше публичной сферы, ограничение медиа — рост коррупции. Больше свободы у прессы — меньше коррупции.

Недавний случай в Миннесоте: телевизионный журналист проводил интервью, результатом которого стал его арест, надевание наручников, тюрьма. А он только вопросы задавал. Суд вынес вердикт, что задавать вопросы — это оказывать давление на человека или группу людей. Невероятно! В Соединенных Штатах в прошлом году количество смертных приговоров достигло уровня 1950-х годов. Потому что голос, который всегда защищал несправедливо осужденных, голос, который защищал свободу слова, — замолчал.

*Коммуникация –
это кислород демократии.
Пока есть демократия,
люди дышат и не думают
о том, что они дышат*

Наше время наиболее точно описал человек, который не жил в подобное время. Мы живем в кафкианское время. Кафка наиболее четко определил ту неопределенность, которую чувствует человек, когда понимает: что-то меняется, что-то происходит, кто-то принимает какие-то решения, но ты не понимаешь какие. Люди знают все больше, но понимают все меньше. Фундамент под ногами плывет. Перечитайте еще раз «Процесс» и «Замок». Время, оказывается, это не цикличность исторических событий, это цикличность отношения человека к происходящему вокруг него.

Но если вы хотите более оптимистический взгляд, то почитайте второго экзистенциалиста, который, правда, не любил, когда его так называли, — Альбера Камю. Во время ковида его работа «Чума» читалась как протокол происходящего в тот момент. В ней та же устойчивость

Коррупция растет обратно пропорционально: меньше публичной сферы – рост коррупции

жизни человека в условиях, которые меняются так быстро, что человек не может за ними уследить. Смотрите, что происходит: в геополитике ничего не понятно, в экономике живем от кризиса к кризису, а искусственный интеллект развивается

с такой скоростью, что мы за ним не успеваем. На фоне всех этих событий, которые приносят изменения, у человека есть единственное желание — чтобы все осталось по-прежнему.

Почему же Альбер Камю оптимистичнее? Во-первых, он считает, что тот факт, что все изменяется, не изменит человека. Человеку все равно остается сизифов труд. Камю говорит: нет оснований, чтобы тревожиться, что будет потом. Вы все равно должны продолжать действовать. Потому что демократия может существовать только в условиях ежедневного приложения труда, мысли, усилий. Демократия именно тот камень, который Сизиф толкает вверх. Как только вы захотите отдохнуть от нее, она скатится вниз.

И еще один вывод Камю, который лучше подходит к сегодняшнему дню: человечность важнее победы. К этому выводу он приходит на основании того, что сменяемость происходящих событий настолько убила, что то, что вчера считалось невозможным, сегодня уже реальность. Сейчас часто пользуются словом «новые»: новые сороковые, новые шестидесятые... Как бы всему приписывается новое, но на самом деле это непрерывное изменение, непрерывный рост, непрерывное воспроизведение старого и улучшенного старого. И в этих обстоятельствах главное — сохранять себя.

Но как сохранять? Фактически наши хранители — те большие общества, в которых мы живем. Для меня таковым является Европейский союз. Мы неоднократно слышали у разных комментаторов, что Евросоюз вот-вот развалится. Те страны, которые еще не вошли в Евросоюз, хотят вступить в тот симулякр, который выдается за Европейский союз.

До 1990-х Евросоюз был совершенно другого качества. Вступление в него Центральной и Восточной Европы не только увеличило Европу, но и изменило. Евросоюз никогда не был завершенным проектом. Это полигон, который заменил силу оружия силой закона и диалога. Это проект, который перенес диалог и переговоры поверх границ государств.

Этот проект должен совершенствоваться. И он уже совершенствуется. Сейчас все больше говорят о Евросоюзе как о луковице. Я же говорю о Евросоюзе как о союзе стран, развивающихся с разной скоростью. Все

12 стран, которые в начале 2000-х (т.е. в начале XXI века) вступили в Евросоюз, были не готовы к Евросоюзу. Но решение было правильное, потому что это стимулировало развитие этих стран. Сегодня пора перейти на Европу разных скоростей. Потому что только тогда будет действовать политика

кнута и пряника. Какой главный критерий? Урсула фон дер Ляйен работала три критерия определения того, с кем сотрудничать, с какими партиями. Первый: признаете ли вы верховенство закона? Второй: поддерживаете ли вы Украину? И третий: являетесь ли вы проевропейскими? При «заполнении» этой маленькой анкеты Джорджа Мелони попадает в партнеры, а Виктор Орбан уже не попадает.

Понятно, что Евросоюз — первая постнациональная демократия. Демократия, которая распространилась над границами, через границы, между государствами, которые раньше уничтожали друг друга. Но не только постнациональная. Кажется, Евросоюз как бы опережает время. Один из аргументов в пользу того, что Евросоюз нужен, заключается в том, что национальное государство слишком маленькое для глобализации, но слишком большое для локальной демократии. Это ключ к будущему Евросоюза.

Нынешнее время я бы назвал одним старым русским словом — смута. И эта смута может продолжаться десятки лет. Возвращения к старому порядку не будет. И самый черный прогноз предполагает, что в конце этой смуты вся конструкция, которая была создана после 1990-х, то есть единая Европа, лопнет. Она слишком хрупкая.

Я надеюсь, что этого все-таки не случится, но ряд признаков, несомненно, уже заметны в нынешнее время. Судьба Латвии однозначно зависит от судьбы Евросоюза. И стоит сказать о том, что происходит в Латвии сейчас. Хотел бы я видеть наше правительство именно таким, какое оно есть? Нет. Но оно такое, что может изменить даже Конституцию. Сформировано большинство из четырех партий и нескольких депутатов вне коалиции, которое может поддержать правящую коалицию. Премьер мне внушает некоторое доверие, поскольку Латвия с 1990 года и вплоть до сегодняшнего дня болеет одной болезнью — страхом власти вмешиваться в экономику.

*Демократия именно тот
камень, который Сизиф
толкает вверх. Захотите
отдохнуть от нее,
она скатится вниз*

Я вижу в этом и свою вину тоже. Ведь в 1990-х годах, когда надо было проводить макроэкономическую стабилизацию и начинать конвергенцию с западными структурами, мы, в частности лично я, были заодно, мол, мы должны дать права свободному рынку и свободному предпринимательству. Пусть свободный предприниматель выбирает направление своей деятельности, пусть рынок регулирует этот процесс.

До определенного времени это должно было работать. Более того, оно и работало до 2007 года. Когда была смена веков, международные газеты, даже экономические журналы, называли три Балтийские страны «балтийскими тиграми». Со стороны мы были похожи на «азиатских тигров», потому что было двузначное развитие — экономика прибавля-

ла больше 10% в год. Но это происходило за счет того, что экономика в 1990-х упала ниже плинтуса. И конечно, первичная или ранняя конвергенция дала этот рывок, а значит, все было сделано правильно.

Нынешнее время я бы назвал старым русским словом — смута. И она может продолжаться десятки лет

Мы до сих пор, в отличие от других центральноевропейских и восточноевропейских стран, не провели структурную трансформацию. Мы не предприняли ни малейшего усилия, чтобы реализовать модель «летающих гусей». А кто такие «летающие гуси»? Это «азиатские тигры». Потому что гуси летят V-образно: один всегда впереди, и, когда он устает, его место занимает другой, но сам строй все время соблюдается. Т.е. государство постоянно выбирает отрасль, которой помогает развиваться. Когда достаточный уровень отрасли достигнут, внимание переключается на другую — так развивались «азиатские тигры». Это и есть структурная трансформация. А мы ее не провели до сих пор. Говоря о новом правительстве, мне хочется спросить: знает ли оно, что это такое? Мой первый вопрос ему будет: «Почему вы не пользуетесь тактикой “летающих гусей”?»



Сара Зе (Sarah Sze). Упавшее небо. 2021

Вопросы и ответы

Ирина: Здравствуйте, я из Киева. Хочу поблагодарить вас за потрясающую речь. Скажите, что будет с Украиной в свете вашего печального прогноза? Сможет ли она сохранить себя во время этой экономической и политической смуты?

В. Б.: Будущее Украины не как члена Евросоюза, но как самостоятельно-го государства тем не менее зависит от Евросоюза. Для Украины вступление в Евросоюз — отнюдь не главный вопрос. Да, вы должны делать все, чтобы соответствовать требуемым параметрам, но вы должны быть очень осторожны в отношении вступления. Потому что на данный момент Евросоюз — это союз перерегулированной экономики, которой нужна дерегуляция. И то, что Марио Драги в своем отчете написал, и то, что делается, — это правильное направление, но пока еще сделано очень мало. Я думаю, что, если Европа получит новый договор (пока перспективы не очевидны, но уже появилась надежда), это будет Европа разных скоростей, и Украине стоит одной рукой держаться за Евросоюз, но целиком в него не погружаться. Потому что, попав в Евросоюз, вы себя ограничите. А вам как народу пострадавшему, потерпевшему нужна свобода, чтобы все это поднять. Вы не сможете это уместить в регламенты и директивы Евросоюза. Украина в любом случае выживет, пока будут живы украинцы.

Нелли: Я из Петербурга, но я грузинка. И поэтому вопрос будет про Грузию и другие постсоветские республики, которые стремятся в Евросоюз. То, что вы сейчас сказали, будет ли справедливо для Грузии? Вступление в Евросоюз таких стран, как Грузия или Армения, усилит Евросоюз или нет? Потому что я вижу тут два момента. Мы очень сильно отличаемся, но, с другой стороны, мы, наверное, в Грузии знаем цену демократии сейчас гораздо лучше старых европейских стран, которые привыкли к ней, и воспринимают ее как что-то само собой разумеющееся, и, возможно, не понимают, насколько активно за нее надо бороться.

В. Б.: Я думаю, что Грузия себе уже доказала, что она способна чего-то достичь. Мне кажется, что вы должны, в отличие от Украины, обеими руками держаться за Евросоюз, но голову оставлять свободной. Потому что, пока вы держитесь за Евросоюз, вы идете в правильном направлении. А куда идет Евросоюз, куда идет мир — пока неясно. И вот только тогда, когда Евросоюз примет новые решения по собственному изменению, когда в мире закончится смута (надеюсь, что это случится быстрее, чем я предполагаю), то наступит какая-то ясность по поводу того, как обстоят дела в регионе и куда идти. Но направление должно оставаться постоянным в том смысле, что вы знаете, чего вы хотите достичь. Важно не куда идти, а когда туда идти. Вы должны себя лучше подготовить и осознать, что вы попадете в некоторое пространство, которое положительное, но очень зарегулированное. Мне трудно сказать, как грузинская экономика будет развиваться, для этого мне нужно больше знать о Грузии. Может, я ошибаюсь. Но я вижу, как Латвия зарегулирована. Мы отстаем в Европе.

Артем: Добрый день, я родом из России, но сейчас живу в Германии. У меня вопрос про будущее. Война между Россией и Украиной когда-то закончится, мы не знаем, как именно, но Россия будет все так же соседом Европейского союза, Россия географически будет оставаться соседом Латвии. Какие отношения выстраивать в будущем, когда война закончится, или даже сейчас с Россией — строить стену или налаживать какие-то контакты? Какая должна быть архитектура новых политических отношений с Россией со стороны Европейского союза? И как вы думаете, какую политику стоило бы новому правительству Латвии проводить по отношению к России?

В. Б.: Я думаю, что моя точка зрения сильно отличается от доминирующей позиции в Латвии. Россия и Белоруссия — наши непосредственные соседи. И никуда они не денутся. Поэтому Латвия должна занять, и она занимает, четкую позицию в отношении Украины. Но Латвия не должна постоянно провоцировать Россию. А нынешнее (как и прошлое) правительство, как мне кажется, потакает обывателю, бьет себя в грудь: какие мы умные, какие мы сильные, какие мы... Европа, уверен, после окончания войны очень быстро выстроит взаимоотношения с любой Россией.

Бросится торговать, откроет те же магазины, те же заводы, если условия позволят. Поэтому есть текущая задача: Украина, мир. И нет вечных врагов. Были же вечные враги Германия и Франция.

Арсений Куманьков: Спасибо большое за выступление. Мне кажется, оно было одновременно и пессимистичным, и оптимистичным. Последнее в первую очередь связано с вашими ораторскими способностями. Я хотел бы на родном языке уметь так выражать свои мысли. Но меня больше волнует пессимистичная часть, потому что она звучала и в вашем выступлении, и в ваших ответах на вопросы. Мне кажется, мы столкнулись с ситуацией, когда разного рода силы, оспаривающие демократию, оказываются очень привлекательными и соблазнительными. Авторитарные страны могут быть довольно успешны в том, что касается обеспечения благополучия своих граждан. Они могут создавать ощущение того, что тот социальный порядок, который они предлагают, очень стабильный и надежный. И в общем-то, если государство не лезет активно в личную жизнь людей, то как будто бы исчезает всякая необходимость противопоставлять что-то авторитарному правлению. При этом, мне кажется, мы наблюдаем кризис либеральной идеи, кризис демократической идеи. Как сделать демократию снова значимой, ценной и важной для людей, чтобы люди верили в нее?

*Европа после окончания
войны очень быстро
выстроит взаимоотношения
с любой Россией*

В. Б.: В сущности, вы в своем вопросе сформулировали, как мне кажется, главную дилемму сегодняшнего мира. Хабермас прав, когда говорит, что демократия — отнюдь не идеальная форма управления. Демократия не дает ничего такого, чего нельзя было бы добиться даже при авторитарном режиме. Но демократия — это медленное, даже скучное развитие, которое требует непрерывных человеческих усилий. Демократия фактически стремится создать условия, которые авторитаризм не способен создать. То есть какое у демократии преимущество? Это общество, в котором человек живет по-человечески, без страха. В этом суть демократии — жизнь без страха. Это то, что гарантирует демократия. Если тебя обвинят в чем-то, то будет разбирательство, процедуры, нормальный разговор. Справедливость — это то, о чем люди договорились. И это отнюдь не сильная рука, которая действительно может подобрать самых лучших исполнителей и реализовать быстро принятые решения. Да, авторитаризм этим привлекателен. Но демократия сильна тем, что она позволяет исправлять ошибки.



Кирилл Рогов,
независимый
исследователь,
основатель Re: Russia

Переход к демократии*

Недавно я разговаривал с одним очень известным в России человеком. «Что делать с народом, — говорил он, — который не хочет демократии? Я просто не знаю и не понимаю». Главная тема нашей беседы была немножко другая, я возражал ему по другому поводу и эту фразу оставил без ответа. Но потом задумался и понял, что именно надо было сказать: практически в половине, если не в большинстве стран, где сейчас царит демократия, народ ее в общем-то особо и не хотел. История Европы в этом смысле очень наглядна.

Демократия, демократизация — это довольно сложная штука, и на нее не нужно реагировать так, как мы привыкли.

В 1996 году в России прошли выборы, что-то было несправедливо — и все, демократии нет, кончилась. Или наоборот: мы кого-то свергли, и — ура! — теперь у нас демократия. Все это не имеет отношения к делу и не имеет отношения к тому историческому процессу, который мы можем назвать демократизацией.

Существует знаменитая концепция трех волн демократизации Хантингтона. А есть ее современное обновление — работа (см. график) Стаффана Линдберга, главы Varieties of Democracy (V-Dem), крупного проекта по изучению демократии.

Каждый год на графике отмечают страны, в которых произошло улучшение или ухудшение демократического состояния, т.е. демократии стало меньше или больше, а в целом количество этих стран указано на вертикальной оси. Прерывистая линия — демократизация, т.е. рост демократии. Сплошная линия — ухудшение ситуации с демократией. После Первой мировой войны прошла первая волна демократизации, сразу в 18 странах отмечено улучшение

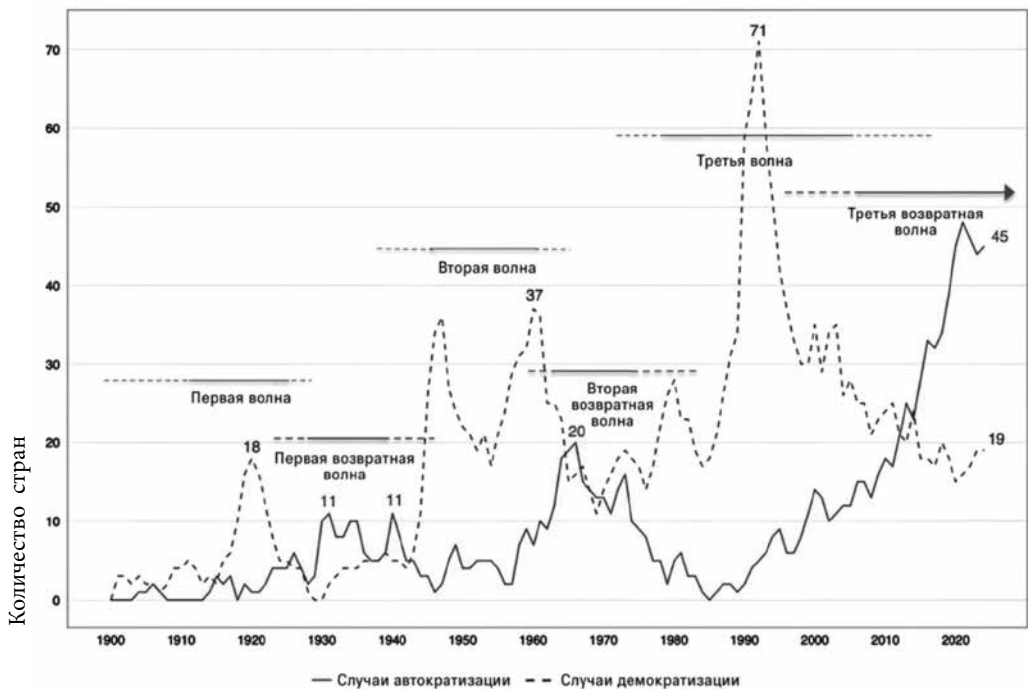
* Выступление на семинаре Школы в Риге 25 мая 2026 г.

ситуации. В 1930-е годы вверх пошли сплошные линии. И это первая возвратная волна, когда недемократических стран стало больше, а демократических — меньше.

Вторая волна демократизации — это 1950–1960-е годы. Затем следуют 1970–1980-е — вторая возвратная волна. И наконец, третья волна — конец 1980-х — начало 1990-х годов, самая огромная, на графике похожа на Эйфелеву башню. А дальше, в 2000-е и в 2010-е, количество авторитарных стран опять резко возрастает. И сейчас оно находится на пике. Вообще демократизация — это не дорога с односторонним движением. Ты можешь поехать в одну сторону, потом у тебя что-то в стране произошло, и ты поехал в другую сторону. И не факт, что ты опять не развернешься на 180 градусов и не поедешь в ту сторону, куда ехал вначале.

*Демократизация —
это не дорога
с односторонним
движением*

Итак, первая волна демократизации. В 1914 году Европа состоит в основном из империй. Российская империя, Австро-Венгерская империя, Германская империя. Италия — монархия, Испания — монархия. Начинается Первая мировая война. И кончается она распадом империй. Возникло много государств. Прибалтийские государства — Литва, Латвия, Эстония. Польша отделилась, Венгрия появилась, Италия и Испания перестали быть монархиями. Появилось много стран, и все они стали республиками и писали свои конституции.



Источник: Staffan I. Lindberg. Fifty years of the third wave(s)

Если взглянуть на карту 1929 года, то мы увидим страны авторитарные — коммунистические, националистические или фашистские. А в 1934 году уже большая часть Европы залита красно-коричневым цветом. Практически все республики, которые образовались в 1918–1920 годах, к началу Второй мировой войны, были либо очень националистическими, либо фашистскими. Никакой демократии, авторитаризм. Таким мир вступил во Вторую мировую войну. Мы должны помнить, что становление той демократической Европы, которую мы знаем сегодня, происходило через колоссальный кризис национализма 1930-х годов, когда большая часть Европы фактически была фашистской.

Значит, если сейчас страна почти фашистская, то еще не факт, что так будет всегда. Это внушает оптимизм.

Российские либералы думают: «Вот Путин умрет, и тогда заживем, что-то изменится». Пишут какие-то новые конституции, которые надо будет ввести. И основная их идея заключается в том, что в 1990-е годы мы как-то неправильно распорядились демократией (то есть не мы, а

*Чаще всего либерализация –
первый этап возможного
процесса демократизации*

предыдущее поколение политиков). Кто-то кого-то предал, кто-то занялся коррупцией, кто-то не организовал демократические институты так, как надо было организовать, и следствием этого

стал Путин, а следствием Путина стала война. И в следующий раз нужно будет, во-первых, избрать настоящих, а не ненастоящих демократов, во-вторых, принять лучшую конституцию, чем мы приняли в прошлый раз, и начать жизнь с чистого листа.

Это очень частое заблуждение, мол, когда кончается диктатура, начинается демократия. Как две смежные комнаты: из одной вышел и оказался в другой. На этом строится очень много рассуждений о том, почему у нас не получилось в 1990-е годы. Но когда вы выходите из комнаты, на которой написано «Диктатура», вы не попадаете в комнату, на которой написано «Демократия». Вы попадаете в какое-то промежуточное пространство.

В принципе, этому процессу посвящено довольно много известных исторических исследований. Сам процесс состоит из нескольких этапов: либерализация, транзит режима, выборы, слабая демократия, возвратный авторитаризм или дальнейшая демократизация.

Чаще всего либерализация — первый этап возможного процесса демократизации. Либерализации бывают сверху, снизу и сбоку. Либерализация сверху — это сами власти, сам авторитарный режим по каким-то причинам начинает что-то разрешать. Отвинчивает гайки, как часто говорят русские интеллигенты. Так было в перестройку. На самом деле режим это делает не для того, чтобы людям стало лучше жить, а потому что считает, что только таким образом сможет сохраниться. Интерпретировать это он может по-разному: или надо новых людей кооптировать

в свою коалицию, чтобы оппозиция не усиливалась, или надо повысить эффективность экономических институтов, или избавиться от санкций, которые на него наложены. Либерализация снизу — это когда происходят протесты, которые перерастают в революцию, и они обрушивают институты прежнего режима.

Либерализация сбоку — распространенное явление, потому что очень часто либерализации способствуют внешние факторы. Например, в конце 1980-х, в 1990-е годы либерализации в Восточной Европе поспособствовали внешние факторы, в частности позиция Москвы и то, что в Москве был Горбачев. И это всем известно. Тогда же произошла либерализация примерно в тридцати африканских странах. Почему она произошла? Потому что закончилась холодная война и та поддержка, которую оказывали своим сателлитам Советский Союз и своим сателлитам — Соединенные Штаты. Она редуцировалась или вообще прекратилась. И соответственно, очень много режимов начало сыпаться. В Африке началась либерализация.

Чаще всего к либерализации приводит сочетание разных факторов. И в результате разрешают то, что раньше запрещали: прекращают преследовать политических оппонентов и отменяют цензуру, снимают ограничения на доступ к информации, ослабляют механизмы социального контроля, происходит деидеологизация, фактическое введение свободы слова и свободы собраний, проводят ограниченные конкурентные выборы.

Примерно в 60% случаев либерализация сверху, как посчитал в своей статье «Демократизация по ошибке» известный политолог Дэниел Трейсман, способствует тому, что режиму все-таки приходит конец. Трейсман показал, что большинство демократизаций в мире происходит по ошибке: власти хотели одного, а получилось другое. Поэтому, с одной стороны, когда у вас начинается либерализация сверху, вы должны помнить, что, в принципе, власти хотят вас обмануть и таким образом сохранились. Но также надо помнить, что не факт, что у них это получится. И это такая важная дихотомия этого момента.

Так что либерализация — это еще не демократия, это демонтаж ограничений институтов контроля прежнего режима, диктатуры. Это состояние наблюдатель первой русской революции 1905–1907 годов, русский писатель Василий Розанов, описал в книжке «Когда начальство ушло...». Учитель ушел, класс остался один, и тут кто-то сказал, что надо выбрать нового старосту, кто-то начал кидаться бумажками, а кто-то разбил окно. Вот это и есть последствия либерализации. Нет системы контроля прежнего режима, но еще нет и демократии.

Потому что, когда происходит либерализация, это не значит, что к власти приходят демократы. Наоборот, для многих совершенно разных социальных групп открываются возможности представлять себя. Они не сдержаны, не ограничены режимом, как были раньше, они начинают

действовать в разных направлениях. Если посмотреть на историю перестройки, то она породила три крупных процесса.

Демократическая мобилизация: люди, скажем, в Москве, в больших городах России, во многих местах хотели демократии. Вторая мобилизация, конкурирующая с ней, — националистическая. Она началась в основном на юге, в Закавказье, в Молдове, в целом ряде стран. В странах Балтии была смесь требований демократизации — и демократической, и националистической мобилизации. Ну и третий процесс, который за-

*Когда происходит
либерализация, это
не значит, что к власти
приходят демократы*

пустила либерализация Горбачева, — то, что я называю элитной сецессией. Это когда региональные элиты решили: а чего мы будем теперь подчиняться Москве? Мы независимые, будем сами по себе. Такой процесс доминировал в Центральной Азии.

Где какой-то из этих процессов оказался главным, в ту сторону республика или будущая страна и начала двигаться. И это происходило еще до того, как распался Советский Союз. Республики разошлись по своим траекториям в зависимости от того, какой тип мобилизации или какой процесс в них развивался.

Вторая развилка — это транзит режима. Наступила либерализация, и либо она пошла снизу, либо она пошла не снизу, но власти не сумели ее удержать и использовать в своих интересах, и она превратилась в неуправляемый процесс. И дальше происходит переход, то, что называют транзитом режима. Вот некий режим был и кончился, люди ему перестали верить, и теперь можно установить новые органы власти. Этот переход может происходить мирным и немирным путем и может происходить довольно непредсказуемым образом.

Например, классический пример транзита — социалистическая Румыния. Чаушеску был самым жестким диктатором из всех советских социалистических диктаторов Европы. У него все было под контролем. В провинции начались волнения. Он послал туда войска, подавил эти волнения. Потом еще раз попытался использовать войска. Глава военных отказался подчиняться, и его убили. Чаушеску тем временем собрал в столице перед президентским дворцом митинг в свою поддержку. И во время митинга люди вдруг начали кричать антиправительственные лозунги, митинг стал превращаться в антиправительственный. Силы секретной полиции пытались его подавить, но их не поддержали военные. Чаушеску со своей женой сел в вертолет и отправился в свою родную провинцию, откуда он был родом, будучи уверен, что там он найдет сильную поддержку, там он скроется и оттуда сможет вернуться потом обратно. И тогда военные, понимая, что если все так и произойдет, то их всех расстреляют, отправили следом военные вертолеты, которые нагнали Чаушеску, изобразили судебный процесс и тут же его расстреляли. Т.е. произошла некая демократическая мобилизация — люди,



Карола Гран (Carola Grahn). *Drick Drick*. 2025

согнанные на площадь, вдруг начали выкрикивать лозунги против Чаушеску. Но эти люди не могли победить сами по себе. Слом режима произошел, когда возник конфликт, когда часть силового блока Румынии начала подавлять митинг, а часть отказалась. И дальше стремительно конфликт перерос в такую жесткую форму, потому что он подстегивался страхом наказания.

Итак, либерализация сверху — это когда власти сами начинают потихонечку что-то разрешать. Либерализация снизу — это когда народ выходит на площадь. Какой сценарий предпочтительнее? Представим себе: вот сейчас Путин умер, приходит какой-то мини-Путин и говорит: «Ну хорошо, интернет можно, но вот тех, кто иноагенты, мы никуда не пустим, и вот это нельзя, и вот то нельзя. Только вот это можно». Или лучше, если народ выйдет на площадь и скажет: «Все, нужна свобода!», и тогда разрешат все. Какой сценарий лучше?

*Пусть все-таки фреймворк
будет задавать тот,
у кого есть мозги,
а не только пушка*

Дискуссия: вопросы и ответы

Михаил, Москва — Париж: Получается, лучший сценарий — это комбинация обоих. Когда снос снизу создает пространство для действий и какие-то элиты (в этом случае военные) устанавливают фреймворк?

Марина Майя, Екатеринбург: Я готова согласиться с высказыванием коллеги, но я хочу добавить, что, как известно, права не дают, права берут, и в тот момент, когда это идет снизу, у тебя появляется политическая ответственность и политическое сознание — это то, чего нет сейчас.

К. Р.: Я согласен с первой частью высказывания Михаила, что должна быть комбинация — запрос снизу, начало брожения, и процессы снизу, и поиск каких-то союзников наверху, и раскол элит. Но я категорически не согласен с идеей, что военные задают фреймворк. Пусть все-таки фреймворк будет задавать тот, у кого есть мозги, а не только пушка.

Слушатель: Можно я отвечу как человек, который был на Майдане в Киеве в 2004-м и позже участвовал в реальных событиях? Я считаю, что, когда движение идет снизу, это намного лучше, потому что это говорит о сознании народа и сознании людей данной страны. И это поможет стране двигаться дальше. Если либерализация идет только сверху, а сознание народа не готово, то не факт, что это приведет к переменам.

К. Р.: Спасибо всем, я согласен со всеми ответами, что лучше, когда и волки сыты, и овцы целы. Но на самом деле, скорее всего, в истории будет какой-то один сценарий. Вот, например, вы живете в Польше в 1982 году и у вас есть «Солидарность», но при этом очень мощный коммунистический режим, который вводит военное положение, и народ, в общем, не очень способен против него выступить. Или вы живете в Советском Союзе в 1987 году и тоже находитесь в определенной ситуации, когда начали разрешать, но еще никто не выступает, никто не собирается свергать режим. И вообще, свергать режим — это серьезное решение, потому что вы не знаете, что будет потом, кто придет вместо.

И здесь, кстати, кроется ловушка этой дилеммы, что, с одной стороны, нам было бы лучше, если бы в Россию пришел кто-то, кто разрешил все и назначил новые демократические выборы. Это неплохой сценарий, мы будем его приветствовать. С другой стороны, очень часто бывает, что при таком сценарии, особенно после длительной диктатуры, надо проводить выборы, а народ совершенно не знает, из кого выбирать, кого выбирать, кто есть кто на этой поляне. И наоборот, история, например, Польши нам говорит, что «Солидарность» в течение почти 10 лет боролась с режимом. Это создало очень структурированную оппозицию, в которой были разные крылья: социал-демократическое крыло, христианско-демократическое крыло. Но это были люди, которые уже были вполне подготовлены, у них была сеть, в которой они друг друга знали.

И когда режим ослабел, они сумели провести выборы еще при нем, на которых победили, и это обеспечило мирный переход. В этом смысле польская история успешнее румынской. Потому что в Румынии все произошло совершенно внезапно для всех, и никто не знал, где оппозиция, не было до этого никакой оппозиции. Можно провести выборы, но непонятно, за кого голосовать, и кто эти люди, и что они будут делать потом, у них нет истории, мы их не знаем. Так что в разных сценариях есть свои плюсы и свои минусы. И такой переход, который выглядит как внезапное восстание, создает ситуацию неподготовленности к следующим шагам, а надо проводить выборы.

В этом демократическом переходе бывают два типа выборов. Если старый режим уже обрушился, то будут учредительные выборы. Нет никаких фактически легитимных органов власти, и надо избирать их заново. Нужно придумать временные органы, которые объявят выборы (иногда удается использовать старые). Переходные выборы ставят перед оппозицией обычно еще одну дилемму, очень сложную. Выборы проходят по плохим правилам, которые установил режим. Они такие, чтобы никто не мог победить, чтобы народ мог только участвовать, а результат был бы ограниченным. Соглашаться на такие выборы или нет — это еще одна дилемма, которую решает в такой момент оппозиция. Обычно несогласие, бойкот выборов из исторического опыта являются проигрышной стратегией. Потому что выборы дают некоторую легитимность. Переходные выборы очень много нам рассказывают о том, что будет дальше.

Переходные выборы очень много нам рассказывают о том, что будет дальше

В советское время, в 1990 году, в СССР прошли выборы в Верховные Советы союзных республик. Почти во всех участвовала оппозиция, если она была. И если на тех еще советских выборах в Верховные Советы республик оппозиция была и она получила больше 20–30% мест, то эти страны стали после распада Советского Союза либо демократическими, либо зависли в транзитном состоянии, при котором власти где-то более, где-то менее демократические.

У нас есть страны успешного перехода — это прежде всего Эстония, Латвия и Литва. И есть еще два типа постсоветских стран: страны с устойчивой консолидированной автократией и те, в которых в постсоветский период на выборах получались совсем другие цифры и совсем другое количество сменившихся президентов. Я их называю условно конкурентными олигархиями. Это страны, которые находятся где-то между: там не сложилось устойчивой автократии, но и до устойчивой демократии они как бы не дошли. Так вот, те страны, где оппозиция на выборах еще в 1990 году взяла больше 20% голосов, попадают в первую группу. Если оппозиция совсем ничего не получила или получила меньше 15% голосов, это, скорее всего, вторая группа. Есть исключение из

этого правила — это Россия. В России демократическая оппозиция получила около 40% голосов, и в 1990-е годы Россия была в третьей группе конкурентных олигархий. Но потом, в 2000-е годы, она переехала в группу консолидированных автократий. Это особая история, почему так произошло, но сейчас я хочу обратить внимание на то, что эти выборы, которые проходят еще при старом режиме, уже показывают, есть ли у демократической оппозиции потенциал, может ли она мобилизовать людей, может ли создать сеть влияния, установить какие-то свои структуры, которые, несмотря на противодействие, получают места, может ли она вывести людей на улицу.

Это важный этап, во время которого оппозиция не может выиграть еще, потому что так установлены правила выборов, но она может институционально закрепиться, осознать свою коалицию: с кем она вместе, кто помогает ей в этой коалиции, что приносит ей голоса, как нужно

*Выборы невозможно
провести нормально,
если нет партий,
а партий не может
быть, если нет выборов*

агитировать, что нужно делать, где ее позиция. Структурирование оппозиции происходит на этом этапе, и поэтому он очень важен.

Второй вариант — это когда режим обрушился: он не проводил управляемой либерализации, он боялся ее, в какой-то момент терпение народа кончилось, люди вышли на улицу, послали на фиг власть, и все рухнуло. Надо проводить новые выборы. И здесь, казалось бы, все хорошо, диктатуры нет, но, чтобы провести выборы, должны быть разные партии. Гораздо проще провести переходные, учредительные выборы, когда есть оппозиция, которая имеет историю борьбы с режимом, и все ей доверяют. А при диктатуре ее нет. Партия не может возникнуть без выборов. Я называю это проблемой курицы и яйца демократии: выборы невозможно провести нормально, если нет партий, а партий не может быть, если нет выборов. Это будет момент турбулентности, который довольно сложно преодолеть, для которого надо придумывать стратегии преодоления.

Из этого следует одно неприятное, но важное следствие: скорее всего, одних выборов не хватит, чтобы хоть как-то стабилизировать новый режим. Более того, вероятно, понадобится по ходу дела менять правила выборов, а может быть, менять и Конституцию. И надо сначала выбрать тех, кто будет менять, потом это изменить, потом выбрать уже тех, кто будет по новой Конституции баллотироваться. Потому что коалиции, которые на этих первых выборах сформируются, будут, скорее всего, достаточно случайными, в них будут случайные люди. Более того, кто быстрее всего организует такие коалиции и, как правило, партии? Абсолютно верно: те, у кого есть ресурсы и навыки. Это будут либо представители прежней элиты, либо олигархи, либо бюрократия. Да, они быстрее создадут эти группки под какими-то брендами, которые хорошо продаются, и выведут их на выборы. И конечно, в партиях, которые

образуются, даже если они сначала будут низовыми, вышедшими из оппозиции, очень скоро большую роль начнут играть олигархи. Это почти неизбежный процесс, который в принципе не противоречит демократии. Да, если бизнес заинтересован в политике, то он готов инвестировать в партии. И нет ничего плохого в том, что бизнес инвестирует в политические партии, но вопрос — кто получает контроль в результате этой инвестиции? И если контроль тех, кто инвестирует деньги, очень большой, то возникает совершеннейшая олигархия, очень далекая от демократии.

Если в партии есть олигарх, который контролирует ее на данном этапе, то на следующем выяснится, что партия не может получить нужное количество голосов только с помощью этих денег, ей нужны еще низовые агитаторы и сеть поддержки внизу, распространенная по стране. И тогда в партии начинается борьба между спонсорами, которые дают сверху и требуют контроля, и теми, кто работает снизу на земле и говорит: «Если будет такой контроль, мы не будем работать». Начинают договариваться, и баланс власти становится еще сложнее: у тех, кто дает деньги, остается часть власти, но они не могут принимать решения без тех, кто внизу представляет интересы низового актива. Собственно говоря, это и называется демократией.

*Перед Россией сейчас
стоит задача возвращения
к нормальности*

Демократия — это не значит, что у нас на столе стоял плохой кувшин, а мы достали хороший и заменили. У нас плохие кувшины, но эти кувшины в рамках этой борьбы и договоренностей, коалиций и компромиссов могут становиться лучше. Поэтому, когда вам говорят, что у нас в 1990-е годы должна была быть демократия, а получилась олигархия... да, это правильно, в значительной степени так и произошло. Но это не значит, что кто-то взял и сломал старую конструкцию. Нет, это естественный процесс. И после слома есть шанс еще раз переместить вес этой конструкции, чтобы уменьшить влияние олигархии, увеличить влияние низового актива и людей и таким образом как-то перебалансировать эту систему.

И главное, в этой истории мы не можем включить демократию как свет. Это будет довольно сложный процесс, в котором будет много итераций и в котором нужно будет, с одной стороны, создавать выигрывающие коалиции, а с другой стороны, искать компромиссы между разными силами. Некоторое время назад я написал доклад на эту тему, главная идея которого заключается в том, что если представить себе переход России к некоторой более демократической системе, то нужно понимать, что то, какие возникнут институты, будет результатом борьбы политических сил, которые выйдут на арену, результатом того, какие коалиции мы сможем создать.

Перед Россией сейчас стоит задача возвращения к нормальности. Не должно быть войны. Не должны людей сажать в тюрьмы и убивать. Не должно быть этого безумия, когда отрубает всем интернет. Нужно вернуться к той ситуации, которая была в 2000-е годы, когда не сажали в тюрьмы за несогласие с действиями властей, когда можно было делать какие-то независимые СМИ, была некоторая рамка, в которой можно было вести диалог о том, что будет дальше. Кто-то будет требовать более радикальной демократизации, кто-то будет говорить, что Россия не готова к демократизации вообще, но это все должно быть в рамках мира, не убийств и без тюрем. На самом деле в России много людей, которые не хотели бы, чтобы была война, не хотели бы, чтобы сажали в тюрьмы, не хотели бы, чтобы запрещали интернет.

Чтобы запустить этот процесс, нужна широкая коалиция. Потому что если мы возьмем либерально-демократическую оппозицию, то ее потенциал в российском обществе составляет примерно 10–12%. Чтобы совладать с путинизмом, нужно некоторое большинство. И нужно создавать коалицию с теми людьми, которые не хотят суперпродвинутой демократизации, но хотят нормальности. С ними можно решить этот первый вопрос — возвращение к нормальности. А дальше начать полемику внутри, через СМИ, через выборы, о том, какая продвинутая демократизация нам нужна, почему она может быть выгодна тем людям, которые сейчас не осознают этого. Это нормальный эволюционный политический процесс.

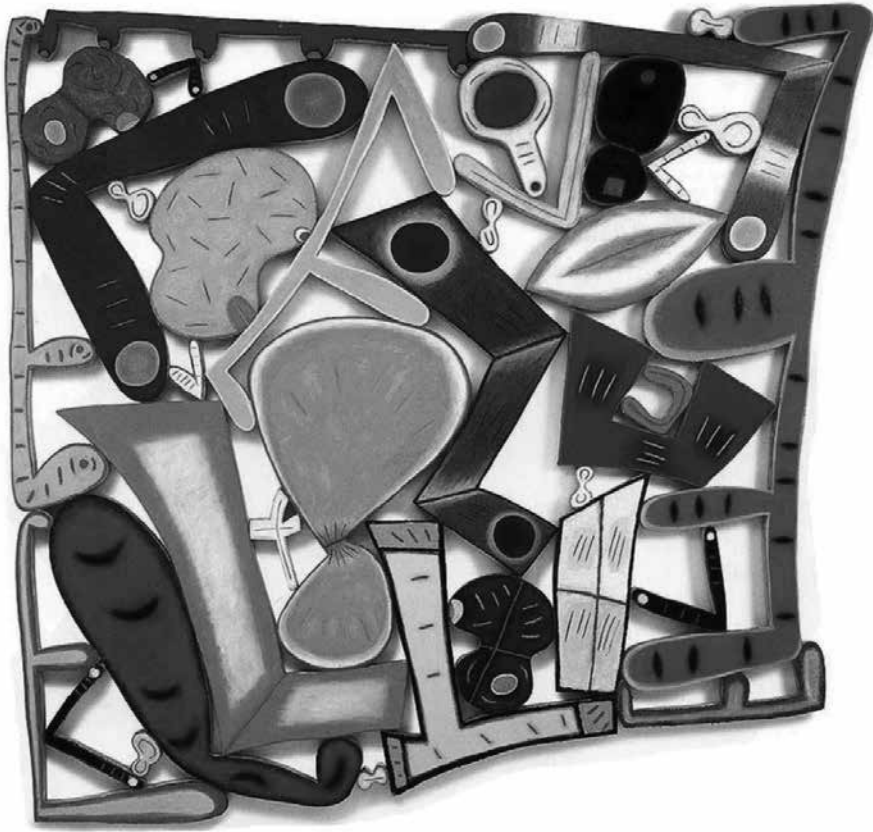
После того как будут проведены выборы, начнется период слабой демократии. И есть много причин, почему она будет слабой. Как я уже сказал, не будет устойчивой партийной системы, после первых выборов

*Общество должно
привыкнуть к новой
структуре, адаптировать
поведение к новым правилам*

все начнут ссориться между собой, те партии, которые выиграли выборы, будут раскалываться на блоки, будут возникать какие-то новые и говорить, что надо проводить новые выборы; будет старая бюрократия, которая действо-

вала при прежнем режиме и которая будет решать, как действовать в новых условиях, где ее интересы, что ей подходит, а что не подходит; будет старая олигархия, которая захочет реванша. Будет период слабой демократии, неустойчивой и нуждающейся в том, чтобы обрести новыми институтами. Эти институты должны укорениться, стать понятными разным группам населения — как их использовать в своих интересах, что выгодно, что невыгодно.

Возвращаясь к двум группам стран. Их отличают, как я уже сказал, результаты первых переходных выборов, которые были проведены еще при советском режиме. И их отличает еще одна вещь, и здесь мы обратимся к вопросу, почему Россия находится во второй группе, хотя должна была быть в группе успешного транзита. Если мы посмотрим на все



Элизабет Мюррей (Elizabeth Murray). ArtPart. 1981

эти страны, что мы про них знаем, про их последние 25 лет истории? В каждой из них была так называемая цветная революция, и не один раз. За эти 25 лет там приходили к власти демократические силы, через 5–10 лет они решали, что надо укрепиться во власти, и они начинали закручивать гайки и придумывать институты, чтобы сделать себя несменяемыми. Тогда люди выходили на улицы и выбрасывали их. Приходили новые власти, через 5–7 лет повторялось то же самое, но люди опять выбрасывали власть на помойку. Этот процесс показывает, что демократия еще не консолидирована, что постоянно возникает желание элиты попытаться закрепиться, но демократия все-таки жива.

В России как бы тоже была попытка цветной революции в 2011–2012 годах — она не состоялась, она проиграла. Были такие же попытки и в Беларуси, и в Азербайджане, и эти страны остались во второй группе, потому что им не удалось подтвердить, закрепить демократию. История — это про то, что у нас нет переключателя. И даже если уже вроде демократия наступила, нет такого закона, что этот поезд будет

ехать только вперед. Очень велика вероятность, что поезд развернут, машинист переседет в последний вагон и поедет обратно.

Анастасия: Мы сейчас много говорили о транзите к демократии, но вообще известна и обратная история. Во-первых, почему происходит обратный транзит? Люди устают от демократии? Второй вопрос: а может ли что-то демократическое государство сделать для того, чтобы откат не произошел? И не будут ли те ограничения, которые для этого придется ввести, противоречить самой идее демократии?

К. Р.: Это хороший вопрос. Когда вы думаете, что выбрали новые хорошие демократические власти — это еще не переход к демократии. Это только одна из ступенек. И она не решающая. Может произойти откат обратно, это совершенно естественный ход событий. Скорее всего, после этого вы окажетесь в той же ситуации, что и постсоветские страны из третьей группы (условных конкурентных олигархий), — они все время болтаются между разными состояниями. Потому что старые общественные структуры взаимосвязей действуют. Патерналистские ценности и патерналистская модель взаимоотношений никуда не делись. Чтобы перейти к некоторому другому порядку, надо после того, как демократы выиграли на выборах, изменить институциональный, социальный порядок, пройти много ступеней.

Общество должно вжиться, привыкнуть к новой структуре, адаптировать свое поведение к этим новым правилам. Это тот процесс, когда политические институты превращаются в социальный порядок, когда люди привыкают к новым условиям, понимают, как в них жить, и начинают жить, имея в виду эти правила.

Поэтому, чтобы не происходило откатов, ничего нельзя сделать искусственно, нужно только бороться за то, чтобы продвигаться вперед, за то, чтобы эти откаты были не какими-то необратимыми.

Слушатель: То, что сейчас происходит в США, можем ли мы называть началом процесса ухода от демократии? Двести лет была демократия, и все работало, а сейчас вырастает неизвестно что.

К. Р.: Совершенно правильный вопрос. То, что мы сейчас переживаем, — это третья возвратная волна после третьей волны демократизации. Здесь скрыты два разных процесса. Один процесс заключается в том, что некоторые страны пережили либерализацию, но дальше не справились с управлением и начали откатываться обратно. Вообще, когда происходит демократизация, всегда большое количество стран освобождается от тирании одновременно. И это нам говорит о том, как важен международный контекст, потому что обычно страны переходят (по крайней мере, пытаются перейти) к демократии не поодиночке, а кучками. Но потом только часть стран, освободившихся от тирании, остается на высоком демократическом уровне. Часть стран скатывается

обратно. Сейчас мы начали переживать еще один процесс. В отчетах о состоянии демократии в мире, которые выходят каждый год, главная тема последние три года — что мы наблюдаем не только процесс возвращения к автократии некоторых стран, но мы переживаем процесс ухудшения состояния демократии во всех странах, которые давно демократические. В том демократическом либеральном ядре мира, которое есть, начался процесс ухудшения демократии. И не только в Соединенных Штатах, он происходит и во многих странах Европы. И сегодня можно говорить, что мы имеем дело с некоторым кризисом старой демократии.

В экономике и в бизнесе есть такое понятие «don't waste a crisis» — извлеки пользу из кризиса. С точки зрения бизнеса и экономики кризис — это нормально. Кризисы случаются, кризисы должны случаться, потому что сама эволюция в значительной степени опирается на кризисные механизмы. Но кризис может перерасти в катастрофу. Например, кризис демократии в Европе после первой волны демократизации перерос в катастрофу, во Вторую мировую войну, в повсеместный фашизм по всей Европе. Да, такое может случиться, но не обязательно. Поэтому, с одной стороны, мы находимся на нижней точке этого спада, а с другой стороны, это накладывается на кризис старых демократий, который они, будем надеяться, переживут.

*Кризис демократии:
система балансирования
правоцентристских и
левоцентристских партий
людей не устраивает*

Елена: Здравствуйтесь, я представляю берлинскую организацию Demokrati-JA. Мой вопрос касается Германии, а именно такого явления, как брандмауэр (Brandmauer), то есть отказ действующих партий вступать в коалицию с «Альтернативой для Германии» (АдГ). С одной стороны, брандмауэр — это хорошо, потому что обеспечивает некоторый сдерживающий механизм. С другой стороны, брандмауэр во многом стал причиной такой высокой поддержки АдГ, потому что люди хотели дать больше видимости этой партии. Насколько это хороший сдерживающий механизм или он, наоборот, может запустить плохие процессы?

К. Р.: Спасибо большое за этот замечательный вопрос. Действительно, это нормально для либеральных людей после слова «брандмауэр» решать: никакого с ними взаимодействия, отбрасываем их, и все. Но очень важно понимать обратную сторону этого. Это тоже часть кризиса демократии. Мы сейчас наблюдаем, что в европейских странах появляются «светофорные коалиции», которые неустойчивы. И для населения они становятся подтверждением того, что старым элитам и старым партиям верить нельзя, потому что они ничего не могут сделать. И таким образом опять происходит усиление радикалов. И вот все собрались в коалицию и не пустили радикалов во власть, но потом все равно недовольны правительством все — и левые, и правые, и зеленые. И в следующий раз

уже не удастся повторить такую мобилизацию, потому что люди знают, что из этого ничего не получается (то есть этих мы не пустим, но то, что получим в результате, нам будет не нравиться).

Я не знаю, как решить эту проблему, это часть кризиса и очень сложный вызов. Очевидно, что кризис демократии связан с тем, что система такого балансирования правоцентристских и левоцентристских партий работала лет 20–30, а сейчас она людей не устраивает. И этим центристским партиям люди больше не верят, потому что они кажутся им лицемерными, неспособными куда-то продвинуться, решить проблемы. Они склонны верить более радикальным высказываниям.

Иван: По вопросу о том, что лучше — демократизация сверху или демократизация снизу. Конечно, лучше демократизация снизу, потому что людям нужен опыт того, как они организовались и смогли сдвинуть государство. И государству нужен такой опыт. Чиновники и силовики, которые есть сейчас и которые, может быть, придут потом, должны помнить об этом. Многие говорят, что, когда Путин умрет, тогда начнется демократизация, но мне кажется, это тоже неправильно. Это то, что вне нашего контроля. Нужно думать о том, как усилить свои возможности, и не рассчитывать на то, что что-то нам свалится в руки само. Навальный тоже говорил, что в какой-то момент придется договариваться с неприятными людьми, но заранее отказываться от субъектности и заранее сдавать им все позиции — это глупо.

Ирина, Киев: Скажите, когда же, наконец, в России наступит демократия?

К. Р.: С одной стороны, у России есть действительно тяжелое наследие, и я согласен с тем, что политическая культура великодержавности — это очень большая проблема России. Почему-то нужно людям, чтобы это была не просто нормальная страна, но еще и великая держава. И это глубоко укоренилось в политической культуре. При этом мне кажутся неверными все разговоры про русский империализм. У него нет той движущей силы, которую ему приписывают. Если мы посмотрим на социологические опросы, то даже буквально за два месяца до войны, в декабре 2021 года, людям задавали вопрос: «Стоит ли включать Луганскую и Донецкую республики в состав России, или они должны остаться частью Украины, или должны стать независимыми странами?» И с включением республик в состав России согласилось около 20% респондентов. То же самое про Белоруссию: «Стоит ли ее присоединить окончательно к России?» — «Да», — ответили 20%. По-моему, самое большое число было за то, что республики должны остаться автономиями в составе Украины. И это при всей происходившей пропаганде.

Помните, был лозунг: «Хватит кормить Среднюю Азию!»? Потом у некоторых появился лозунг: «Хватит кормить Кавказ!» Вот это ощущение слабеющей метрополии, которая должна кого-то кормить, а ей

стоит сосредоточиться на своих внутренних проблемах, есть у российского обывателя. Поэтому я говорю, что великодержавность — это глубокая проблема. Империализм — неточное слово, надо понимать, о чем мы говорим.

Россия сегодня, даже несмотря на последние 10 лет, гораздо больше готова к тому, чтобы перейти к демократическому состоянию, чем была в 1990-е годы. У нее довольно сильный модернизационный городской класс. Он за эти пять, последние семь лет не исчез, и он не уехал — уехала только его маленькая часть.

У России есть огромная проблема с нефтью и газом... Если бы в Украине были нефть и газ, то было бы сложнее, потому что нефть и газ — это такие ресурсы, которые дают тебе ренту, то есть дополнительные деньги, которые ты ни у кого не отнимаешь. Вот нормальная рента заключается в том, что я устрою такой порядок, что часть ваших денег перейдет мне. Тогда вы начинаете со мной бороться, потому что вам ваши деньги самим нужны, и у нас получается интенсивная политическая жизнь. А если мне все время приходят деньги откуда-то со стороны, я заведомо богаче вас, я могу выстраивать структуры, которые начинают доминировать на политическом поле, но я это делаю не потому, что я у вас что-то отнял, а за счет того, что получаю все время какой-то дополнительный доход. И поэтому нефтегазовая рента очень деструктивно действует на демократический процесс. Потому что появляются доминирующие элиты. В России на определенном этапе, когда элиты приходят к власти и стараются закрепиться, они получают нефтегазовую ренту. Другим группам элит противодействовать им очень трудно. И другие группы элит в конце концов выбирают для себя путь встраивания в общую пирамиду. И так происходит укрепление этой политической системы.

Россия сегодня больше готова перейти к демократическому состоянию, чем была в 1990-е

При этом в России поразительным образом на протяжении 2000-х и особенно 2010-х годов шли два разнонаправленных процесса, которые имели общий корень. Корнем этих двух процессов была большая нефтяная рента и рыночная экономика. К чему это вело? С одной стороны, к укреплению автократии политической. С другой стороны, к высокому потреблению в городах и к росту городских экономик, крупных городских агломераций, их модернизации, их дигитализации, к тому, что они начинали производить продвинутые вещи в хайтеке, в сетевой экономике. И это были два разнонаправленных процесса. Городская модернизация и вот эта политическая архаизация — они как бы шли параллельными курсами. В моем представлении война стала попыткой политической надстройки сломать этот низовой процесс. В этом смысле условия для определенной демократизации в России неплохие, если сократится нефтегазовая рента и станет ясно, что это сокращение на длительный период, — и мы к этому близки. И еще — просто если повезет.

Слушатель: Что должно произойти в России, в Беларуси, чтобы начался переход к демократии? Мне кажется, что смерть Путина должна быть сначала, потому что есть ощущение, что он сам не отдаст власть. И получается, что возмущившийся народ должны поддержать военные, а какую роль могут и должны сыграть в этом уехавшие?

К. Р.: Какую роль должны сыграть уехавшие — это хороший и важный вопрос. Когда начинается кризис, режим перестает обеспечивать стабильность, и люди начинают волноваться: «Где другая повестка? Как должно быть по-другому? Во что теперь верить?» Вот в этот момент дол-

*Все против ФСБ –
вот такая смысловая
повестка*

жен быть сформулирован ясный дискурс: мол, мы верим, что должно быть то-то, то-то и то-то, и это альтернатива. Будут, конечно, националисты со своей альтернативной программой. И важно, какая альтернатива сыграет, какую люди

будут на этот момент лучше знать, какая будет для них понятнее, какая станет популярнее. Это ключевой вопрос, и на это каким-то непонятным образом нужно работать, нужно вырабатывать эту альтернативу. Эта альтернатива должна быть реалистичной.

Мы не можем обещать, что через три года или семь лет в России будет демократия. Но мы должны объяснять, почему в эту сторону имеет смысл двигаться, почему очень многие заинтересованы в том, чтобы туда двигаться. Сегодня в России лишены прав, отключены от участия в принятии решений не только иноагенты, не только оппозиция. Лишены права участия в принятии решений бизнес, бюрократические региональные элиты, военные, которые сами не принимают решений о том, как им действовать, потому что Путин за них все решает. Огромное количество государственной бюрократии выключено из этого процесса, потому что есть очень узкая группа бенефициаров Путина и его силовое окружение — спецслужбы ФСБ, которые монополизировали процесс принятия решений, лишив участия в нем даже вполне лояльных, но более умеренных групп. И мы все должны работать на то, чтобы убедить их, что они тоже вернутся, они получают больше прав участия в принятии решений. Мы все заинтересованы в том, чтобы это произошло. Все против ФСБ — вот такая смысловая повестка.

Лена Немировская: Кирилл, огромное тебе спасибо. Ты говоришь о демократизации. Мне кажется, что идея демократизации — или это должно идти из школы, или должно быть такое воспитание в семье, не знаю, откуда это берется. Вот Украина для нас пример, Закавказье... Все-таки они пока хотят (не знаю, как у них пройдет вторая ступень) отделиться от империи и получить права. Это первый шаг, без которого нельзя. Мне хотелось бы посмотреть, как они будут строить демократическое общество дальше, и я хочу им пожелать лучшего. В России проблема другая — отделиться не от кого. Разве что от Америки, но Америка уже

далеко. Я уже сказала много раз, что не могу понять, как из всех институтов в стране победил институт КГБ, у которого кровавая история не только в Украине или в Грузии, но прежде всего в России. И он себе победно марширует и насаждает себя везде. С чего начинать двигаться, как изменить сознание? Что делать в конкретных условиях?

К. Р.: Во-первых, это старая дилемма про просвещение: что делает страну демократической? что делает население демократическим? благодаря чему происходит переход к этим ценностям демократическим, которые становятся массовыми? Мой ответ будет довольно скептический: я считаю, что просвещение (вот, скажем, деятельность Школы) — это возвращение актива. Если бы таких школ была бы тысяча, если бы в каждом регионе по четыре таких школы — еще можно было бы о чем-то говорить. Но Школа одна. И все-таки то, что вы делаете, — замечательно, и это страшно важно, это возвращение актива. И этот актив должен когда-то сыграть и сыграет какую-то роль.

Как происходит массовое изменение стандартов ценностей? Оно происходит через институты, к сожалению. Люди понимают, что успех в институтах — карьерный, жизненный успех — возможен, если следовать следующим правилам, установкам. Если институты будут коррумпированы, то люди будут знать, что хотя на самом деле это так, но вести себя надо вот так. Это то, что очень многие в России выучили в 1990-е, в 2000-е годы и последствия чего мы сейчас в значительной степени видим. Нам нужен какой-то ресурс, чтобы продержаться тот период, когда еще нет поддержки новых институтов снизу, но их надо сохранить, чтобы постепенно перейти в стадию, когда эта поддержка нарастет.

Константин: Сейчас, в условиях XXI века, серьезной дигитализации практически всего, возможна ли вообще какая-то ненасильственная либерализация снизу при отсутствии либерализации сверху?

Арсен: Вы рассказывали про страны, которые сформировали демократическую оппозицию и смогли стать более-менее демократическими государствами, и про те, где большинство проголосовало за ту партию, которая была раньше. Мне кажется, здесь важен фактор структуры их экономик. Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Россия — они имеют огромное количество финансовых ресурсов, которые получают за счет полезных ископаемых. Это дает им возможность содержать большой репрессивный аппарат. И получается, если у них аккумулируется огромное количество сил, то они будут продолжать зачищать полностью все поле, не позволяя реализоваться различным демократическим силам, и демократизации таким образом не произойдет. Если говорить про средний класс, который является движущей силой демократизации, — он уезжает из страны, потому что нет возможности реализовать свои бизнес-проекты, права на частную собственность не соблюдаются, и любой независимый олигарх подвергается национализации, отбору имущества. Как вы видите в таких условиях демократизацию этих стран?

Тамара: У меня есть вопрос про Грузию. В 2003 году была «революция роз». В 2012 году был мирный транзит. В 2024 году мы думали, что смогли добиться мирной замены власти. Но, к сожалению, нынешнее правительство своей политикой вызывает продолжительные протесты, которые еще не закончились. С вашей точки зрения, во что эти продолжительные протесты могут вылиться? Какова будет ответственность за замену правительства? И какова роль социальных медиа в демократических процессах?

К. Р.: Дигитализация, контроль, «цифровой ГУЛАГ»... Очень активно развиваются методы контроля, они приобретают совершенно новые формы.

Если мы посмотрим на историю взаимодействия технологии и политики, то в XXI веке она довольно интересная, и здесь наблюдается некоторая динамика. Потому что в начале 2010-х годов дигитализация и социальные сети были на стороне демократической оппозиции. Они помогали бороться с авторитарными режимами, они становились инструментом, зоной прорыва. Потом, во второй половине 2010-х годов, автократии не только в России, но и по всему миру овладевали теми же

Надо думать, как вернуть технологии народу

механизмами — механизмами социальных сетей, разных дигитальных сервисов и так далее, и сейчас все это прямо стало оружием автократии. И социальные сети, и вся дигитализация сегодня в большей степени оружие автократии, нежели демократии. Но не факт, что так будет всегда. И технологический баланс использования разными сторонами различного инструментария, и умение адаптировать его к своим интересам — это динамическая история, и, я думаю, она такой останется. Надо думать, как вернуть технологии народу.

По поводу прогнозов. Знаете, почему сравнительная политология обладает очень маленькой прогностической силой? Политологи очень много могут вам важного сказать: мол, в 60% случаев произойдет вот так. А вы спросите: «А я в каком проценте?» А я не знаю, в каком вы проценте — то ли в 40%, то ли в 60%. Но сама сложность предсказаний в истории и в политике заключается в том, что мы имеем дело с реципрокными процессами, которые опираются на структурные факторы. Структурные факторы — это когда мы говорим: «Если у страны много нефти, там будет диктатура». Да, с высокой вероятностью так будет, но не точно. А почему так, но не точно? Потому что социальные процессы — реципрокные. У вас что-то происходит, вы на это реагируете. Другая сторона реагирует на то, как вы среагировали. Вы реагируете на эту реакцию. Социальный процесс — это постоянный обмен ходами и репликами. И у каждого хода и реплики есть диапазон. Вы не можете совершенно непредсказуемым образом проектировать какое-то социальное событие.



Тревор Пеглен (Trevor Paglen). ImageNet Roulette. 2019

И где вы окажетесь — ближе сюда или ближе туда — предсказать очень сложно. А от этого будет зависеть следующий ответ — ответ на ответ. И возникает непредсказуемость этой диалогической структуры, когда общество вдруг сумело каким-то образом организовать и ответило сильнее, чем предсказывалось, — и раз, сместилась вся траектория, не кардинально развернулась, но немножко поехала в другом направлении. Это очень трудно предсказать.

Про Центральную Азию я в основном согласен. Нефтегазовая рента не единственный, но важный социальный механизм, потому что это не просто значит, что у меня больше денег и я скупаю все медиа, но еще я создаю паству участников патерналистской модели: кому-то раздаю денег больше, чем он сам может заработать, потому что у меня есть лишние деньги, и он будет мне благодарен, он будет меня поддерживать. Так что это более сложный, к сожалению, механизм, и неизвестно, что с ним делать. Про Грузию я все понимаю, сочувствую Грузии, меня очень интересует, как сложится ее судьба.



*Пилар Боне Кардона,
журналистка
(Испания)*

*Испания на грани ультраправой угрозы**

Мой взгляд на проблему — это взгляд не узкого специалиста, а рядового гражданина, который прожил за границей в общей сложности почти 40 лет, а теперь вернулся на родину и столкнулся с целым рядом пугающих политических и социальных процессов. Они мне не нравятся, поскольку напоминают времена моей юности — эпоху франкизма.

Можно сказать, что перед отъездом из Испании в 1980-х годах я застала первый испанский транзит. Таким образом, я наблюдала два транзита: переход от франкизма к демократии в Испании и переход от коммунизма к демократии в России, начавшийся с перестройки. Это два совершенно разных процесса, но у них есть общие черты. Российский транзит, к сожалению, пережил инволюцию, повернул вспять и вернулся к прошлому. Испанский же транзит на протяжении многих лет считался успешным, однако оставил после себя проблемы, которые так и не были до конца решены. И здесь нам поможет чуть позже мой коллега, эксперт с большим опытом работы в судебной системе, который расскажет о двух главных узлах, которые испанский транзит так и не смог развязать.

Наш переход к демократии долго называли образцовым. Поэтому я не буду говорить о том, как франкистская система совершила политическое хакири. Скажу лишь, что в результате был найден компромисс: страна вернулась не к республике, ставшей жертвой военного переворота 1936 года, а перешла к конституционной монархии. Это было соглашение между франкистами, согласившимися на реформы, и некогда маргинализированными или находившимися в изгнании левыми и демократическими силами.

* Выступление на семинаре Школы в Сеговии (Испания) 19 июня 2026 г.

И система обрела устойчивый двухпартийный консенсус между Испанской социалистической рабочей партией (PSOE) и консервативной Народной партией (PP).

Эта схема окончательно дала сбой в 2019 году, когда, по выражению Альваро Хиль-Роблеса, наружу вырвались внутренние демоны. В 2019 году в национальный парламент триумфально вошла новая политическая сила — партия «Голос» (Vox). Она отпочковалась от наиболее радикального крыла Народной партии, но быстро впитала в себя другие течения: остатки франкизма, фалангизма и традиционалистского католицизма. Получился конгломерат, действующий по классической популистской логике, которая сегодня сильна и в других странах Европы: давать простые ответы на сложнейшие комплексные проблемы. Партия была основана еще в 2013 году, но на общенациональный уровень вышла именно в 2019-м.

По мнению экспертов и согласно данным открытых источников, появление «Голоса» было обусловлено двумя процессами: кризисом вокруг каталонского сепаратизма в 2017 году и временной потерей власти Народной партией из-за ее коррупционных скандалов. Ключевая фигура в «Голосе» — Сантьяго Абаскаль, выходец из Бильбао (Страна Басков). Это агрессивный радикальный политик из семьи с франкистскими традициями, которая в свое время преследовалась баскскими националистами и леворадикальными группировками. Он умеет красноречиво аккумулировать страхи, витающие в стареющем консервативном обществе. Его главной темой стала миграция, которую он ставит выше всех остальных проблем.

«Голос» не просто наследует идеи франкизма, но и активно кооперируется с аналогичными силами в Европе: «Альтернативой для Германии» (AfD), партией Марин Ле Пен во Франции, «Фидес» Виктора Орбана в Венгрии. В Европарламенте они сейчас объединены во фракцию «Патриоты за Европу».

Ситуация в Испании может кардинально измениться, если на общенациональных выборах 2027 года к власти придет коалиция Народной партии и «Голоса», где последние станут младшими партнерами. Напомню, что «Голос» уже является третьей по численности силой в парламенте страны и коалиционно управляет целым рядом ключевых регионов — Эстремадурой, Кастилией — Ла-Манчей, Арагоном, а также ведет переговоры в Андалусии. Там, где ультраправые вошли во власть, они жестко диктуют повестку умеренным консерваторам, заставляя их принимать свои правила игры. Чего они хотят?

«Голос» выступает за радикальный консерватизм: борется против абортот и ЛГБТ-движения, продвигает латентную ксенофобию (особенно против исламской миграции), требует жесткой централизации

*Испанский транзит
на протяжении многих лет
считался успешным, однако
оставил после себя проблемы*

государства и ликвидации автономий. Он воюет с законами об исторической и демократической памяти, которые пытаются восстановить справедливость и реабилитировать жертв франкистского переворота 1936 года. И выступает против изучения любых региональных языков, кроме кастильского (испанского).

Возьмем тему миграции. В региональных пактах с консерваторами «Голос» продавил концепцию национального приоритета. Это прямой подрыв действующего Закона об иностранцах, который гарантирует

Ультраправые идут против центрального правительства Испании

легальным резидентам равный с испанцами доступ к социальным благам и медицине. Национальный приоритет означает сегрегацию: чтобы получить базовую помощь, иностранец должен

будет представить кипу документов и доказать долгосрочное «укоренение» в общине. Равные условия подменяются дискриминационным бременем. Эта политика похожа на практики Трампа в США с его депортациями, изоляторами иммиграционной службы (ICE) и урезанием социальных услуг до минимума. Данный вектор совпадает и с новой миграционной политикой ЕС, которая допускает создание фильтрационных центров для интернированных за пределами границ Евросоюза. При этом ультраправые идут против центрального правительства Испании, которое, напротив, проводит масштабную легализацию сотен тысяч мигрантов.

В сфере истории «Голос» активно конструирует собственные мифы. Его излюбленный сюжет — Реконкиста. Исторически это был сложный восьмивековой период, когда разрозненные христианские королевства воевали друг с другом, вступали в тактические союзы с мусульманами и соперничали за земли. Никакой единой Испании тогда не существовало. Но в идеологии Абаскаля Реконкиста преподносится как монолитный «христианский крестовый поход» единого испанского народа против оккупантов.

Чтобы вам было понятнее, здесь прослеживается прямая параллель с тем, как мифологизируют прошлое российские лидеры, выстраивая искусственный непрерывный контур от Киевской Руси к современной Российской Федерации. Война России против Украины во многом подпитывается этой иллюзией «исторического континуума». Не случайно Москва делает такой упор на то, что князь Владимир крестился именно в Херсонесе, пытаясь превратить эту туманную историческую точку в обоснование прав на территорию.

Миф о Реконкисте ультраправые используют и на выборах. В 2018 году на выборах в Андалусии Абаскаль пафосно скакал на коне под музыку из «Властелина колец» — прямой намек. Вторым объектом мифологизации является конкиста — завоевание Америки. Для «Голоса» это «священная евангелизационная миссия», принесящая культуру и

цивилизацию дикарям. В этом контексте они превозносят фигуру Эрнана Кортеса. Эту риторику разделяет и часть Народной партии: все помнят визит главы Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо в Мексику, где она восхваляла Кортеса так, будто до его прихода там жили только варвары. «Голос» даже умудрился внести в Конгресс Испании инициативу с требованием к правительству Мексики «привести в надлежащий вид и охранять» могилу Кортеса.

Законам о памяти ультраправые противопоставляют лукавый лозунг «согласия и примирения», требуя вообще забыть о диктатуре и перевороте. Они пытаются уравнивать обе стороны гражданской войны и блокируют эксгумацию остатков жертв франкизма из безымянных могил. Абаскаль защищает Долину Павших (Valle de los Caídos) как великий архитектурный памятник, выступая против ее переосмысления.

Ультраправые воюют и против самого правового устройства Испании — децентрализованной системы автономий. Напомню, что автономии в ходе транзита стали компромиссом, позволившим успокоить франкистскую армию. Военные тогда согласились допустить во власть левые силы, включая коммунистов, в обмен на сохранение территориального каркаса, который не является федерализмом, но дает регионам широкие права. «Голос» требует свернуть эту систему.

Консерватизм ультраправых доходит до абсурда: они воюют против альтернативной энергетики и «зеленой повестки». В Эстремадуре они в рамках коалиционного соглашения урезали бюджеты на международную гуманитарную помощь и кооперацию, перенаправив эти миллионы на поддержку и популяризацию корриды и разведения боевых быков.

Кто сегодня способен возглавить оппозицию этому правому развороту? Я не знаю. Но примечателен недавний семидневный визит папы римского Льва XIV в Испанию, где ключевой темой его выступлений стала миграция. Папа прямо говорил о достоинстве и правах мигрантов. В данном конкретном аспекте Ватикан неожиданно стал союзником демократических сил и звеном глобального сопротивления неоконсервативной волне Трампа. Вторым оружием против «Голоса» должна стать глубокая реформа образования, направленная на развитие критического мышления у молодежи.

Ксенофобия в обществе развита куда сильнее, чем мне казалось. Приведу бытовую, но показательный пример: в первый день после приезда, сидя в кафе, я услышала разговор трех мужчин, говоривших на чистом кастильском. Это было очень неприятно. Один высмеивал марокканцев, называя их обувь «гомосексуальными шлепанцами». Второй возмущался, что в ресторанах Мадрида местных поваров вытесняют латиноамериканцы, которые «никогда в жизни не умели готовить». А

*Ватикан стал звеном
глобального сопротивления
неоконсервативной волне
Трампа*



Ай Вэйвэй (Ai Weiwei). Арка. 2017

третий рассуждал об итальянских ресторанах, которые зарабатывают миллионы, просто «смешивая спагетти с придорожной травой».

Я возвращаюсь в свою страну и вижу транзит, который так и не дошел до финиша. И здесь мои вопросы адресованы эксперту. Почему испанский транзит забуксовал? В чем корень проблемы? Если проводить параллели с Россией, то там транзит провалился, потому что общество не решилось на люстрацию и глубокую реформу спецслужб и репрессивных органов. В итоге старый аппарат госбезопасности просто перехватил власть. В Испании армия и полиция подчинились демократии, но какой элемент остался unreformed? Где наша «черная дыра»?

Передаю слово Хосе Мануэлю, бывшему члену Генерального совета судебной власти Испании (CGPJ) и одному из ключевых посредников-переговорщиков от испанского правительства на секретных мирных переговорах с террористической организацией ЭТА в 2006–2007 годах.

Черная дыра испанского транзита: нереформированные суды



*Хосе Мануэль Гомес
Бенитес,
профессор уголовного права,
адвокат-криминалист
(Испания)*

Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить вне рамок основной программы. Я стараюсь быть кратким. В прошлый раз, в 2023 году, я делился на семинаре своим опытом ведения переговоров в условиях насилия, когда выступал посредником между правительством Испании и террористической организацией ЭТА. Сегодня по просьбе Пилар я хочу поговорить о главной «невывученной лекции» нашего транзита — о провале реформы судебной системы.

Я буду говорить, опираясь на личный опыт. Во-первых, я сам был арестован и брошен в тюрьму судом диктатуры. Во-вторых, много лет практиковал как адвокат-криминалист и вел сложные уголовные дела, имевшие большой общественный и медийный резонанс. И в-третьих, в течение пяти лет я изнутри наблюдал за системой, будучи членом высшего органа управления судебским корпусом страны — Генерального совета судебной власти, куда был избран по квоте юристов признанного престижа.

В период транзита, завершившегося принятием Конституции 1978 года, перед Испанией стояли три большие структурные проблемы.

Первой проблемой была франкистская, реакционная и склонная к переворотам (что и подтвердилось во время неудавшегося путча 1981 года) армия. Однако благодаря интеграции Испании в НАТО, умной кадровой политике по обновлению верхушки генералитета и изменению программ в военных академиях эту угрозу удалось ликвидировать. В этом аспекте транзит одержал безоговорочную победу.

Второй проблемой были силовые структуры и политическая полиция. Закон об амнистии 1977 года, о котором говорил Томас де ла Куадра, фактически заблокировал любые люстрации и уголовное

преследование полицейских-палачей, нарушавших фундаментальные права человека (включая тех, кто пытал и сажал нас). Кадровый костяк полиции остался прежним. Но сама Политико-социальная бригада была распущена, а поэтапная замена руководителей оперативных подразделений на демократические кадры позволила минимизировать риски. Это тоже можно считать относительным успехом транзита.

Но с третьей структурой — администрацией юстиции — было сделано ровно противоположное. И это главный провал транзита. Мы унаследовали судейский корпус, который был до мозга костей франкистским, ультраконсервативным и верой и правдой служил диктатуре. В судейской вертикали не изменилось абсолютно ничего. Те же самые

*Мы унаследовали
судейский корпус,
который был
до мозга костей
франкистским*

судьи остались сидеть в тех же креслах. Статистика тех лет показывает, что в судейском корпусе было не более 10% судей с прогрессивными взглядами. Все остальные были правыми или ультраправыми. Провести тотальную люстрацию в тот момент было невозможно — это противоречило самому духу мирного компромисса. Однако можно было избежать

критических системных ошибок, за которые мы платим сегодня.

Ошибка первая: отсутствие законодательного регулирования судейских ассоциаций. Наша конституция запрещает судьям и магистратам состоять в политических партиях или традиционных профсоюзах. Но им было оставлено право создавать профессиональные ассоциации. На деле это превратилось в легальную лазейку для создания квазипрофсоюзов, защищающих узкокорпоративные интересы. Любая конституционная норма требует последующего развития в виде законов. За полвека в Испании были приняты сотни таких законов, но законодатели так и не выпустили специальный закон, регламентирующий рамки, лимиты и условия деятельности судейских ассоциаций.

Изначально возникла единая ассоциация, но вскоре ультраконсервативное большинство просто выставило за дверь немногочисленных судей-прогрессистов. Это реакционное крыло до сих пор формирует абсолютное, подавляющее большинство в судейском корпусе. Пользуясь отсутствием внятных законодательных ограничений, эти ассоциации превратились в инструмент открытой политической борьбы против прогрессивных правительств. Судьи, не имеющие права на забастовку, устраивают политические стачки против законов, принятых парламентом, и выходят на митинги с прямыми оскорблениями и упреками в адрес членов правительства. Они действуют как чисто политические игроки.

Через точечные поправки к смежным законам эти консервативные ассоциации выбили себе право единолично формировать судейские верхушки и предлагать кандидатов в Генеральный совет судебной власти. Они полностью оккупировали Верховный суд, коллегии региональных судов и сам орган управления юстицией.

Более того, они законсервировали саму систему входа в профессию. Государственные экзамены для будущих судей полностью контролируются этими ассоциациями. Действует легализованная коррупционная схема: действующие высокопоставленные судьи выступают платными частными репетиторами для кандидатов. Естественно, именно эти репетиторы затем заседают в экзаменационных комиссиях. Это общеизвестный факт. Таким образом, они обеспечивают воспроизводство ультраконсервативной, антипрогрессивной идеологической матрицы среди новых поколений судей.

Ошибка вторая: институт «народного обвинения» (*acusación popular*). В России есть схожий термин, но его юридическая природа принципиально иная. В Испании «народное обвинение» было вписано в конституцию из весьма благородных, но наивных соображений. Авторы конституции панически не доверяли государственной прокуратуре, поскольку во времена Франко ни один прокурор не мог даже помыслить о расследовании коррупции или преступлений членов правительства. Чтобы обойти этот блок, любому гражданину дали право инициировать уголовный процесс и выступать полноценной стороной обвинения в суде, даже если он сам никак не пострадал от данного преступления. Позже Конституционный суд расширил это право, разрешив выступать в роли народного обвинителя любым организациям — партиям, профсоюзам, ассоциациям.

Верховный суд Испании фактически провозгласил себя главой оппозиции против законного правительства

И эта норма наступила на те же грабли: ее не регламентировали отдельным законом. В итоге «народное обвинение» превратилось в мощное политическое оружие ультраправых сил, действующих вместе с консервативными судьями. Карманные ультраправые ассоциации используют этот статус не ради торжества правосудия, а исключительно для генерации медийных скандалов и обвинения левых правительств. Им достаточно принести в суд пачку газетных вырезок с фейковыми новостями, чтобы карманный судья запустил многолетнее уголовное преследование. Человека в итоге оправдают, но политический и репутационный ущерб останется.

Сегодня мы видим, что беспрецедентный судебный прессинг в отношении действующего премьер-министра Испании и его семьи, срежиссированный через ангажированные суды, был запущен именно по заявлениям таких спонсируемых ультраправых «народных обвинителей».

Мы дошли до той точки, когда Верховный суд Испании фактически провозгласил себя главой политической оппозиции против законного правительства страны. Градус противостояния накалился до предела, когда коалиционное правительство, пытаясь политически разрешить каталонский кризис, провело через парламент закон об амнистии для лидеров сепаратистов. Уголовная палата Верховного суда восприняла

это не как законное право законодателей менять нормативное поле, а как личное оскорбление и посягательство на свой авторитет. В итоге Верховный суд начал открыто саботировать применение амнистии под надуманными и юридически недопустимыми предложениями. Например, они до сих пор блокируют действие закона в отношении экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, вынужденного оставаться за рубежом.

Перед нами тяжелый институциональный клинч, когда судебная верхушка пытается диктовать свою волю исполнительной власти. И я искренне надеюсь, что этот горький испанский опыт послужит уроком для будущей России, когда она начнет свой транзит от диктатуры Путина к демократии, чтобы вы не наступили на наши судебные грабли.

Дискуссия: вопросы и ответы

Айдар, журналист: Мы видим тектонический сдвиг вправо по всей Европе. Ультраправые и радикальные консерваторы выходят на третьи места и формируют коалиции. Я сейчас живу в Германии и вижу, как лидер консервативной ХДС Фридрих Мерц в своей риторике начинает использовать маркеры, похожие на лозунги ультраправой «Альтернативы для Германии», пытаясь перетянуть их электорат. Как вы считаете, допустимо ли заигрывать с этим электоратом и перенимать их повестку? Можно ли с ними работать, не предавая демократические институты?

Х. М. Г. Б.: Как не допустить союза традиционных правых с ультраправыми — это главный вопрос для многих европейских стран, включая Германию. В Берлине «санитарный кордон» и красные линии пока еще держатся, но в Испании они уже полностью стерты. Мы можем долго рассуждать о важности качественного образования, способного объ-

Нам необходима условная ООН в сфере ИТ – международная система регулирования

яснить молодежи сложность глобального мира, но все это звучит слишком теоретически. Давайте смотреть правде в глаза: сегодня социальные сети и технологические гиганты находятся в руках конкретных сверхбогатых людей, которые открыто поддерживают ультраправый дискурс. Это уже не локальная, а глобальная проблема, подрывающая национальный суверенитет государств.

Вы можете считать меня религиозным человеком (хотя это не так), но я рекомендую всем изучить недавнюю энциклику папы римского, посвященную новым технологиям. Ее центральный тезис — это вопрос об ответственности за фейки, вбросы и манипуляцию общественным мнением со стороны владельцев платформ. Нам жизненно необходима условная ООН в сфере ИТ — международная система регулирования, способная наказывать за цифровое вмешательство в политику суверенных стран. Прежний мир демонтирован, и корень проблемы лежит глубоко за пределами национальных границ.

Участник: Дискуссия о миграции в Европе часто скатывается в открытую исламофобию и расизм. При этом критики миграции забывают о колониальном прошлом. Не кажется ли вам, что европейский культивируемый культурный релятивизм и политика разнообразия (diversity) мешают нам защищать собственные западные ценности перед лицом притока людей с иными, жестко патриархальными и религиозными взглядами?

П. Б. К.: Я категорически не согласна с такой формулировкой. Для начала нам нужно определить, что мы вообще понимаем под западными ценностями и не пытаемся ли мы дать им эксклюзивное, изолированное толкование. Я искренний сторонник мультикультурализма. Задача государства — выстроить грамотную систему культурного перевода и интеграции, основанную на уважении к закону и демократии, которые не представляют собой эксклюзивную собственность Запада. Сосуществование культур не является чем-то непреодолимо сложным, если в стране нет острейшего экономического кризиса, стравливающего людей. Это вопрос исключительно грамотного администрирования и менеджмента. Я против культурной дискриминации под предлогом защиты неких «чистых ценностей». Давайте признаем демографическую реальность: коренное европейское население просто не воспроизводит себя. Пытаться полностью заблокировать миграционные потоки — значит обречь Европу на экономическое и культурное истощение. Вопрос лишь в эффективном и рациональном управлении этими потоками.

*Правый разворот –
это реальность. Евросоюз
нуждается в глубоком
реформировании*

Семен: Мы видим правый поворот в Европе. В прошлом году озвучивалась цифра, что ультраправые так или иначе вошли уже в семь европейских правительств. Как долго, по вашему мнению, продлится этот исторический цикл — 10, 20 лет? И успеет ли он нанести непоправимый ущерб самому существованию и единству Евросоюза?

П. Б. К.: У меня нет пророческого дара, и я не знаю, сколько продлится этот период. Американское безумие Трампа во многом варится в их собственном американском котле. Что касается Европы, то правый разворот — это реальность, с которой мы уже столкнулись. Евросоюз, безусловно, нуждается в глубоком реформировании, поскольку социальное расслоение и неравенство внутри него стали критическими. Но я верю, что институты выстоят.

С. Бурцев: Пилар отметила, что «Голос» в регионах жестко диктует условия Народной партии. В Германии осенью грядут региональные выборы (например, в Саксонии-Ангальт), где «Альтернатива для Германии» имеет большие шансы на победу. Способны ли институты национального

уровня (правительство, Конституционный суд) эффективно купировать и нейтрализовать ультраправые инициативы на местах (например, попытки отменить законы о памяти или ограничить языки), или же у них хватит сил сломать систему целиком?

П. Б. К.: Испанская архитектура устроена так, что демократическое государство имеет хорошие рычаги балансировки. Если региональное правительство с участием «Голоса» принимает неконституционный закон (например, пытается заблокировать Закон о демократической памяти), центральное правительство немедленно оспаривает его в Конституционном суде, и действие региональной нормы замораживается. Институты и конституционные гарантии пока успешно нейтрализуют этот радикализм. Настоящая катастрофа наступит, когда эти силы наберут полноценное большинство на общенациональном уровне и получат легальную возможность переписать саму конституцию. Против этого у меня готового рецепта нет.

Лилия, журналист, Беларусь: Вопрос к Хосе Мануэлю. Белорусское демократическое сообщество сейчас расколото на два лагеря: одни считают, что с диктатором Лукашенко категорически нельзя разговаривать, другие — что ради освобождения политзаключенных необходимо идти на тайные или открытые переговоры. Опираясь на ваш уникальный опыт переговоров с террористами ЭТА, какие базовые правила нужно помнить при вступлении в диалог с жестоким оппонентом?

Х. М. Г. Б.: Вступать в переговоры нужно всегда, если цель не может быть достигнута силовым или иным ненасильственным путем. Переговоры — это всегда тонкая игра балансов. Стартовая точка — предельно честный и холодный анализ сильных и слабых сторон, как ваших собственных, так и вашего противника. Очень важно нащупать и активировать внутренние трещины и противоречия внутри лагеря оппонента: наличие внутренних элитных трений колоссально ослабляет его переговорные позиции. Тема политзаключенных как раз способна порождать такие трения. Мой опыт заключается в том, что диалог нельзя прерывать даже в самые черные и тупиковые моменты. Нужно уметь сознательно уводить дискуссию от нерешаемых максималистских политических лозунгов в плоскость конкретных прагматических шагов. В вопросе политзаключенных спасением является международная практика правосудия переходного периода. Не нужно требовать немедленного освобождения всех и каждого в первый же день — диктатор на это не пойдет. Процесс разбивается на этапы: смягчение режима содержания, перевод на домашний арест, условно-досрочное освобождение под конкретные обязательства. Главный юридический предохранитель — строгая обратимость (реверсивность) шагов. Заключенный и режим должны четко знать: если освобожденное лицо нарушает пункты соглашения (например, возобновляет радикальные действия), оно немедленно и



Дорис Сальседо (Doris Salcedo). Шибболет. 2007

автоматически возвращается в камеру на самый жесткий режим. Это снимает у режима страх потерять лицо. И конечно, нужно бить в их слабые места. В военных конфликтах слабая точка — это невозможность нести большие человеческие потери без объявления всеобщей мобилизации. Ищите, где горит у Лукашенко, и используйте это как рычаг.

П. Б. К.: Я бы хотела дополнить Хосе Мануэля. Важно понимать разницу контекстов: Хосе Мануэль вел переговоры от имени сильного легитимного демократического государства с подпольной террористической группировкой. В Беларуси же ситуация перевернута с ног на голову: носители демократических ценностей сидят в тюрьмах, а террористическими методами управляет сам Лукашенко, удерживающий государственную машину. Но фундаментальный принцип оценки сил противника и поиска неформальных точек сближения без выдвижения

*Демократия обязана
защищать свои институты
от перехвата контроля*

максималистских ультиматумов остается абсолютно тем же. Нужно нащупать предел возможностей Лукашенко и понять, какую цену он готов заплатить, чтобы ослабить удавку.

Мария: Вы подробно описали системные ошибки испанского транзита. Похожие процессы идут в Польше, где ультраправые тоже сильны и имеют схожие нарративы. Однако в Польше после 1989 года была проведена жесткая люстрация, в то время как Испания выбрала «пакт забвения» и амнистию. Почему же при диаметрально противоположных подходах к прошлому мы имеем одинаково пугающий результат в настоящем?

Х. М. Г. Б.: Я не являюсь глубоким экспертом по Польше, но мой главный тезис заключается в следующем: антидемократические силы редко действуют исключительно методами прямой уличной или парламентской конфронтации. Они предпочитают мимикрировать и годами прорастать внутрь глубинных структур самого государства — в судебский корпус, полицию, армейские институты. И оттуда они действуют максимально эффективно и латентно. Поэтому рецепт один — глубокие, последовательные структурные реформы этих органов, рассчитанные на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы вытравить этот вирус. В Испании мы сегодня страдаем не просто от электоральных успехов «Голоса», мы страдаем оттого, что унаследованная нами нереформированная судебная власть используется как таран для эрозии правового демократического государства. Демократия обязана защищать свои институты от перехвата контроля, последовательно лишая реакционеров их лазеек — ровно так, как мы в свое время смогли реформировать франкистскую армию, превратив ее в современный демократический институт. Эту работу придется проделать до конца.

Сильные и свободные общества отличает не декларируемые принципы, а готовность и смелость им следовать.

Демократия – первая жертва молчания

Любая общественная система рано или поздно проверяется не словами, а поведением людей. Принципы могут быть провозглашены, нормы — закреплены, институты — выстроены. Но в решающий момент все сводится к простому выбору: участвовать или отстраниться. Именно этот выбор и определяет, остается ли система живой. Не случайно одной из самых сильных формул выбора стала фраза Энди Дюфрейна из фильма «Побег из Шоушенка»: «Занимайся жизнью или занимайся смертью». Для общества этот выбор свой: действовать или бездействовать, отстаивать или молча уступить.

Мы привыкли говорить о демократии как форме устройства государства, о системе институтов, выборах, представительстве, процедурах. Все это верно. Но гораздо реже мы задаем себе другой вопрос: за счет чего демократия вообще держится в живом состоянии, что дает ей не название, а содержание? Недаром Авраам Линкольн определил ее как «правление народа, посредством народа, для народа».

Ни один политический механизм сам по себе не делает общество свободным. Законы можно написать, институты можно создать, правильные слова можно повторять бесконечно. Но если люди не готовы участвовать, спрашивать, возражать, настаивать, поддерживать, защищать, любая демократическая конструкция постепенно превращается в форму без внутренней жизни. Демократия слабеет не только тогда, когда на нее давят извне, но и тогда, когда из нее уходит человеческое участие. Как точно заметил Джон Стюарт Милль, «ценность государства в конечном счете определяется ценностью составляющих его людей».



*Зелимхан Яхиханов,
выпускник Школы
2009 года*

Демократия устойчива в тех обществах, где люди готовы защищать ее в поведении; там же, где преобладают равнодушие, страх или привычка к невмешательству, она либо слабеет, либо остается лишь формальной оболочкой.

При этом главный вопрос заключается, вероятно, не в том, можно ли построить демократические институты формально, а в том, способны ли люди сделать их частью собственной общественной привычки. История не раз показывала: наличие процедур еще не гарантирует наличие подлинного участия.

Самая уязвимая точка здесь — молчание. Иногда оно продиктовано усталостью, иногда осторожностью, иногда страхом, иногда неверием в смысл собственного голоса. Человека трудно осуждать за выбор в пользу личной безопасности. Но общество, в котором молчание становится привычкой, рано или поздно сталкивается с тем, что пространство участия сужается еще сильнее. Там, где люди перестают быть носителями гражданской воли, демократия остается лишь словом. Томас Джефферсон выразил это предельно жестко: «Если народ рассчитывает быть невежественным и свободным в условиях цивилизации, он ожидает того, чего никогда не было и никогда не будет».

И здесь возникает, пожалуй, самый неудобный вопрос: где проходит граница между разумной осторожностью и общественным самоустранением? Для отдельного человека молчание нередко выглядит способом сохранения себя и своих близких. Но когда такой выбор становится нормой для большинства, он начинает менять уже не частную судьбу, а саму общественную среду.

Когда-то мне довелось возглавлять независимую общественно-политическую газету с символичным названием «Демократия». Она была официально зарегистрирована, но просуществовала недолго — не хватило финансирования. В этом эпизоде для меня важен не частный редакционный неуспех, а другое: одних деклараций о ценности свободы мало. Это был опыт, который наглядно показал, что существование независимого слова зависит не только от формальных условий, но и от реальной готовности общества его поддерживать.

Поэтому вопрос, вероятно, заключается не в том, существует ли демократия как политический идеал. С этим давно все ясно. Вопрос в другом: сколько в обществе людей, готовых считать ее своей личной ответственностью, а не чужой обязанностью. Потому что демократия начинается не с вывески, не с официальной формулы и даже не с института. Она начинается с человека, который считает важным не только иметь право голоса, но и пользоваться им. И здесь уместно, уже перефразируя Иммануила Канта, сказать: демократия требует от человека мужества пользоваться не только собственным разумом, но и собственной гражданской ответственностью. Иначе она существует на уровне слов, но исчезает на уровне реальности.

*Может ли мировой порядок основываться на международном праве?**

Н. Муйжниекс: Доброе утро. Когда я увидел в названии нашей дискуссии вопрос «Может ли мировой порядок основываться на международном праве?», я подумал о том, как бы ответили на это господин Трамп и господин Путин. Мне кажется, они бы ответили так: а почему мировой порядок вообще должен основываться на международном праве? Право — для слабых. Право — для маленьких. Право не для нас.

Мое мнение заключается в том, что в некоторых сферах мировой порядок может основываться на международном праве, если великие державы сочтут это соответствующим их интересам. Но право — это лишь один из компонентов порядка, и в большинстве регионов мира право сейчас слабеет. По образованию я политолог, а не юрист и в своей работе в области прав человека придерживаюсь утилитарного подхода к праву. Закон может быть полезным инструментом, но права человека, в конце концов, глубоко политизированы.

Поэтому один из аспектов этого вопроса касается будущего прав человека. Как может выглядеть это будущее? Когда я преподаю, я всегда рекомендую своим студентам книгу Стивена Хопгуда, Джека Снайдера и Лесли Винджамури «Будущее прав человека» (Human Rights Futures). В ней описываются четыре возможных сценария, четыре варианта будущего прав человека.

Первый — сохранение прежнего курса. Всему нужно время. Как сформулировал Мартин Лютер Кинг, дуга моральной вселенной длинна, но она прогибается в сторону справедливости. То есть, иными словами, мы просто продолжаем двигаться вперед, нам нужно терпение, и в большинстве мест это сработает.



*Нилс Муйжниекс,
политолог,
эксперт по правам
человека*



*Глеб Богуш,
кандидат юридических
наук, научный сотрудник
Кельнского университета*

* Выступления на семинаре Школы в Риге 24 мая 2026 г.

Второй подход авторы называют «прагматичным партнерством». Иногда нам нужно забыть об универсальных устремлениях и универсальных стандартах. Нам нужно сотрудничать с теми, кто находится у власти, нужно прислушиваться к местным требованиям и идти на компромиссы. Проще говоря, нам приходится заниматься политикой.

Третий сценарий — «глобальный велферизм» (система всеобщего благосостояния) или социал-демократия. Успехи в сфере материального благосостояния вытесняют гражданские и политические права. Это китайская модель: никаких гражданских и политических прав, главное — экономическое развитие.

И четвертый сценарий — права человека как «второстепенное шоу» (попутное зрелище). Права человека будут и дальше деградировать,

*Права человека будут
и дальше деградировать,
поскольку страны Запада
превратили их в оружие*

поскольку страны Запада превратили их в оружие. Они не решают проблему неравенства, которая является одной из ключевых проблем, подтачивающих демократии по всему миру. Кроме того, происходят геополитические изменения, закат Запада как

глобальной силы и в особенности отсутствие поддержки прав человека со стороны Соединенных Штатов.

Так что ни один из этих сценариев не является позитивным или оптимистичным. Выбирайте свой яд. Мое мнение таково: международное право укоренено в глобальных институтах, а эти институты рушатся. Одно из преимуществ работы Специального докладчика ООН заключается в том, что получаешь место в первом ряду, откуда можно наблюдать за крахом этого глобального института. Проблема в том, что великие державы больше не используют ООН для разрешения своих разногласий. Какое-то время они это делали, поскольку это было им полезно, сейчас — в гораздо меньшей степени.

Мы видим масштабные сокращения бюджета ООН. Раньше США поддерживали систему, а теперь они ее активно подрывают. Соединенные Штаты, по сути, заявили: мы против Целей устойчивого развития, изменение климата — это мистификация, и мы должны бороться с экстремистской гендерной идеологией. Одним из символов ухода США является то, что они стали второй после Никарагуа страной, которая не приняла участия в Универсальном периодическом обзоре (УПО) — правозащитном механизме Совета по правам человека ООН. Раз США могут так поступить, то многие другие страны последуют их примеру. УПО — слабый механизм, но это символ. Это был признанный механизм, им пользовались все, а теперь, я думаю, он рухнет.

Что касается Европы, то у нас есть Совет Европы. У нас есть Европейский союз. Разве мы не в гораздо лучшем положении? Что ж, по сравнению с большинством регионов мира мы действительно в лучшем. Но даже здесь у нас есть серьезные проблемы и вызовы. Совет Европы

должен был стать клубом демократий. Но если вы посмотрите на самый свежий отчет исследовательской организации Varieties of Democracy (V-Dem), то увидите, что шесть государств — членов Совета Европы являются авторитарными. Этого не должно было случиться. Азербайджан, Грузия, Венгрия, Сербия, Турция и Украина, согласно V-Dem, являются авторитарными странами — Украина из-за войны, отсутствия выборов и так далее. И это проблема.

По данным организации European Implementation Network («Европейская сеть внедрения»), насчитывается 650 ключевых постановлений Европейского суда по правам человека, которые не исполняются. Это не какие-то рядовые решения, это ведущие судебные прецеденты. И средний срок ожидания их исполнения составляет пять лет. Многие ключевые решения не исполняются вообще на протяжении еще более долгого времени — например, решение по делу «Кавала против Турции». И самая большая проблема с верховенством права в Европе, на мой взгляд, связана с миграцией и массовыми нарушениями на всех границах ЕС, включая Латвию, где существует безнаказанность за пытки, безнаказанность за

*Проблема с ЕС
заключается в крайне
избирательном
применении права ЕС
Еврокомиссией и Судом
справедливости*

выдворение мигрантов и сильное политическое давление с целью ограничения юриспруденции Европейского суда по правам человека в этой сфере. 23 мая в Молдове прошла большая конференция по этому поводу.

Проблема с ЕС, как мне кажется, заключается в крайне избирательном применении права ЕС Еврокомиссией и Судом справедливости. Мы видели, что право ЕС оказало очень ограниченное влияние на откат от демократии в Венгрии и Польше, а теперь и в Словакии. По данным European Implementation Network, 93% рекомендаций в области верховенства права в самом последнем отчете Европейской комиссии — это повторение рекомендаций прошлых лет. То есть, иными словами, прогресса в сфере верховенства права нет. Европейская комиссия просто продолжает повторять то, что говорила раньше. Мой вывод таков: международное право будет играть все меньшую роль в глобальном масштабе. И оно по-прежнему крайне актуально в Европе, несмотря на все слабости, пробелы и вызовы. На этом я пока остановлюсь.

Г. Богуш: Спасибо большое. Я рад снова быть в этой прекрасной Школе. Один из важных моментов для меня — это возможность обсуждать различные темы на русском языке. Я рад, что некоторые вещи могут и должны звучать по-русски. Я думаю, одна из наших проблем заключается в том, что мы не называем вещи своими именами. Это одна из главных проблем, которая сегодня касается не только международного права, но и всей нашей жизни на этой планете, — мы называем вещи не теми именами, какими следовало бы.

Я считаю, что международное право не умирает, оно живет. Мы должны понимать, что международное право — это не только те случаи, когда нам громко заявляют: «Это международное право!» Международное право регулирует огромное количество самых разнообразных отношений. Вся наша повседневная жизнь связана с ним: наше общение, наши передвижения, миграция, получение различных статусов. Права человека пронизывают массивнейшее число аспектов нашего бытия. Наша жизнь неразрывно связана с международным правом, и нет никаких признаков того, что оно исчезнет.

Мне кажется, его уместно сравнить с языком. Международное право часто сравнивают с языком общения, и мы видим, что этот язык используется для определенных целей. Иногда реже, иногда чаще. Им много злоупотребляют. Но мы видим, что этот язык международного общения и регулирования отношений между странами и людьми живет. Поэтому, на мой взгляд, мы присутствуем не на похоронах международного права, а наблюдаем исторический момент. Возможно, момент, который международное право серьезно изменит. И мы не должны попадать в ловушку уничтожения и тотального пессимизма. Нам нужно видеть те возможности, которые международное право предоставляет, и нашу роль в этом процессе.

Проект мирного сосуществования и отсутствия войны — это система, основанная на запрете агрессии, на запрете разрешения конфликтов силой, и наличие международной системы, которая эти конфликты регулирует, то есть системы разрешения международных споров. Я думаю, что этот проект содержался в том международном праве, которое сформировалось после Второй мировой войны.

Прочитую одного очень известного юриста, профессора Принстонского университета Ричарда Фалька, который преподавал там, по-моему, почти всю жизнь и был известен как первый Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях. В свое время он описал состояние международного права следующим образом: оно до сих пор строится на двух моделях. Первая — это Вестфальская модель, которая базируется на абсолютном суверенитете государств, где люди выступают скорее объектами, а не субъектами правового регулирования. Вторая модель — это модель ООН, основанная на запрете применения силы или угрозы силой. Эти две модели сосуществуют, и между ними сохраняется постоянное напряжение. Можно сказать, что международное право находится на таком тектоническом разломе. И мы все еще внутри этих систем. И поэтому если государства, включая так называемые великие державы, крупные мировые силы, недовольны развитием и последствиями использования новой, ооновской модели, то они, безусловно, способны вернуть ситуацию назад, к старым правилам.

Вот почему мы находимся в этом очень сложном состоянии. Мы видим, как многие критикуют современный статус-кво. Но я бы не сказал, что этот проект полностью провалился или проиграл. Да, только в этом году было совершено как минимум два акта агрессии. Мы имеем наибольшее количество вооруженных конфликтов за последние десятилетия, мы видим войны в самых разных регионах мира. Мы наблюдаем трансформацию этих конфликтов и явную тенденцию к их затягиванию. Война в Украине — яркое тому свидетельство как с точки зрения особенностей самого противостояния, так и с точки зрения технологических изменений. Мы имеем долгосрочный конфликт без какой-либо ясной перспективы его скорого разрешения.

Тем не менее видны и другие тренды. Я не могу согласиться с тем, что международное право работает только или прежде всего в Европе. Мы видим, что целый ряд регионов мира активно используют международно-правовые механизмы. Мы видим, что международные институты, такие как Международный

суд ООН, загружены как никогда прежде в своей истории. Сейчас на рассмотрении Международного суда находится наибольшее количество дел за все время его существования. И за это отвечает не какая-то сторонняя организация —

*Сейчас на рассмотрении
Международного суда
находится наибольшее
количество дел за все время
его существования*

туда обращаются сами государства. С одной стороны, это доказывает, что международное право продолжает оставаться важнейшим инструментом, который государства используют для защиты своих позиций. С другой стороны, это обнажает огромное количество неразрешенных кризисных ситуаций, связанных с применением силы и нарушениями прав человека, а также очень часто демонстрирует несовершенство самой системы, которая не позволяет эффективно решать проблемы в условиях кризиса, и, соответственно, несовершенство этих правовых механизмов. Поэтому я бы не впадал в чрезмерный пессимизм, но и не был бы слишком оптимистичен. Сегодня налицо серьезнейшее напряжение, и дело не в самом международном праве, а в том, что за ним стоит. Вопрос, выживем ли мы как цивилизация, основанная на нормах — не только юридических, но и других социальных нормах.

Что касается Международного уголовного суда (МУС), этот суд никогда не был универсальным институтом. Он мыслился как потенциально универсальный институт, это было универсальное стремление. Но государства, создававшие МУС, по сути, отказались наделять его универсальной юрисдикцией, они его изначально ограничили. Более того, этот институт основан на принципе комплементарности, который очень красиво выглядит на бумаге: предполагается, что государство само борется с безнаказанностью, использует собственную правовую систему, чтобы карать и предотвращать совершение международных

преступлений, а МУС подключается как резервный механизм, если национальная система не справляется или бездействует. Если же мы посмотрим на то, как это работает на практике, этот механизм, к сожалению, пробуксовывает. И есть большие сомнения, может ли он эффективно работать в текущих реалиях.

Я бы даже высказал крамольную мысль, что в сфере прав человека подобная субсидиарность прекрасна на бумаге, но в реальности, когда мы сталкиваемся со злой волей акторов, которые не просто совершают ошибки, а целенаправленно работают на уничтожение этой системы

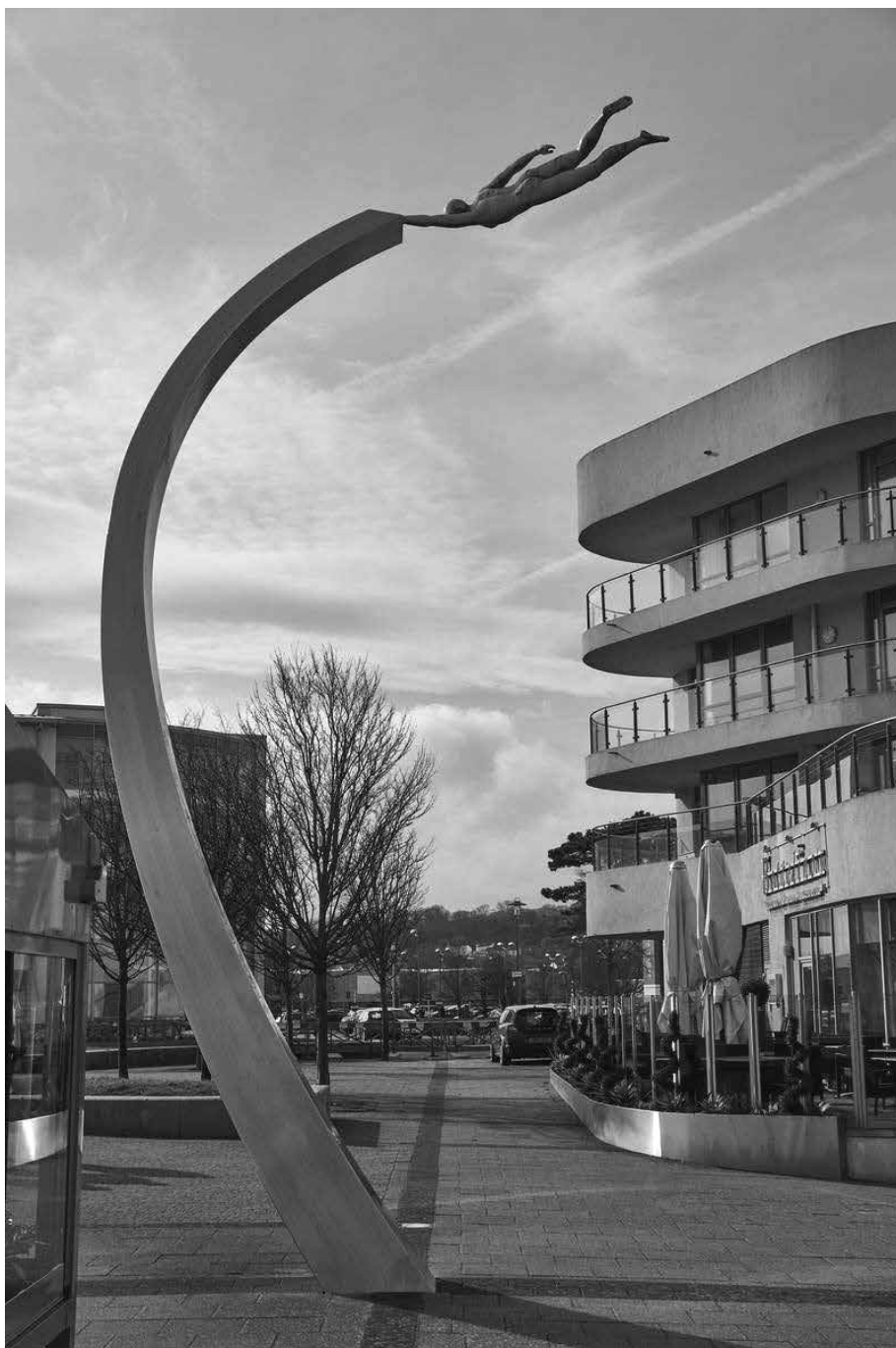
*Когда нам выгодно,
мы с легкостью
соглашаемся с оценками,
звучащими из Москвы,
Пекина или других
центров*

(как мы видим, в сфере уголовного или гуманитарного права), преступников не останавливают эти механизмы. Международный уголовный суд мог бы иметь гораздо большее значение на данном этапе. Проблема заключается в том, что сейчас против него развернута масштабная кампания. Мы знаем о разговоре, во время которого Дональд

Трамп предлагал объединить Россию, Китай и США в борьбе против МУС. Ситуация парадоксальная: как минимум США и Россия в данном вопросе движутся в одном направлении. К сожалению, не только они. Суд не получает должной поддержки со стороны государств.

Это довольно постыдный факт, когда даже символические жесты, такие как официальное осуждение государств, нарушающих Римский статут, не находят должного отклика и формального неодобрения на уровне Ассамблеи государств-участников. Мы знаем о беспрецедентном давлении на судей, об угрозах в адрес прокурора. Мы знаем о позиции Европейского союза, который до сих пор не принял действенных защитных мер. Мы знаем об угрозах безопасности суда, о многочисленных кибератаках, о том, что против суда работают спецслужбы третьих стран. И все это не находит должного отпора. Суд не получает той защиты, которую обязан получать. Поэтому этот вопрос нужно адресовать тем правительствам, которые на словах заявляют о поддержке суда, но на деле ничего не делают.

Наконец, что делать в этой ситуации и какова наша роль? Я думаю, что в нынешней ситуации мы — возможно, это не главная причина, но одна из них — сами часто не следуем собственным принципам. Мы не готовы твердо защищать и отстаивать принципы международного права, которые одновременно являются принципами морали и гуманизма. Мы не защищаем институты, к которым апеллируем. Главная проблема — это пресловутые двойные стандарты. Да, это избитая, дискредитированная формула. Но, увы, проблема реальна. Когда нам выгодно, мы с легкостью соглашаемся с оценками, которые звучат из Москвы, Пекина или других центров. Нам это нравится, мы выбираем то, что нам удобно. И в то же время мы закрываем глаза на нарушения, которые происходят в европейских столицах.



Люси Глендиннинг (Lucy Glendinning). Полет. 2007

Нилс упомянул конференцию в Молдове, где только что была подписана Кишиневская декларация. Лично меня этот документ пугает. Когда Совет Европы на уровне глав государств принимает документ, который фактически ставит под сомнение фундаментальные права человека и

роль Страсбургского суда (причем в той сфере, где права человека кардинально нарушаются), заявляя, что необходимо «осторожно» применять нормы третьей статьи Конвенции (запрет пыток и бесчеловечного обращения), — это, конечно, катастрофа. Мы видим, что сами часто руководствуемся политическими симпатиями и антипатиями. Мы сами ведомы геополитической логикой, хотя эта геополитика убивает нас в буквальном смысле. Мы подменяем логику универсальных ценностей и логику международного права геополитической целесообразностью.

Единственный важный ответ, который мы можем дать, и наша главная сила — это последовательность и принципиальность. Я думаю, что

*Нам следует вернуться
к последовательной защите
универсальных ценностей*

возвращение — хотя бы на нашем, гражданском и экспертном уровне — к последовательности, к принципам, к честному анализу собственных ценностей является ключевым. Мы должны говорить об этих

ценностях единообразно, в том числе и применительно к тем людям или к тем правительствам, которые нам глубоко несимпатичны. Только тогда нас будут слушать серьезно, только тогда наш голос будет убедительным. Проблема сегодняшнего дня — в потере этого доверия, в потере морального компаса. Из-за этого наш голос слышен все меньше и не воспринимается как заслуживающий доверия. Нам следует вернуться к последовательной защите универсальных ценностей. Право само по себе нас не спасет, но оно может стать спасением, если мы действительно стремимся к глобальному миру, к соблюдению международно-правовых норм и к работе на благо самого международного права, а не в угоду конъюнктурным изменениям.

Н. М.: Сегодня в газете The Guardian вышла отличная статья о том, как санкции против судей МУС сказываются на них, и в ней содержится призыв к правительству Нидерландов и к ЕС в целом предпринять решительные действия для защиты этой системы. Дело в том, что, если вы находитесь под санкциями США, это означает, что вы не можете открыть банковский счет ни в одном месте, иначе у этого банка возникнут проблемы с США. И жить в таких условиях очень тяжело. Одна из моих коллег, Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям, тоже находится под санкциями США, и ей очень трудно.

Но я бы сказал, что от МУС все же есть определенная польза, несмотря на все его слабости и отсутствие универсального характера. Пример: Родриго Дутерте, бывший президент Филиппин, сейчас находится под пристальным вниманием. Если он в итоге окажется в Гааге, где его будут судить за военные преступления, думаю, он сочтет этот механизм более чем эффективным. Совсем недавно в Германии по ордеру МУС был арестован подозреваемый в совершении военных преступлений в Ливии.

Возможно, господин Лукашенко не слишком обеспокоен тем, что материалы по нему переданы в МУС, но я могу представить себе сценарий, аналогичный тому, что случилось с господином Милошевичем. Когда в России или Беларуси сменится власть, новые люди у руля ради восстановления отношений с остальным миром вполне могут согласиться принести некоторых своих военных преступников в жертву на алтарь возобновления связей с Западом — точно так же, как бывшие югославские (сербские) власти в свое время выдали Милошевича. И мне очень нравится тот факт, что господину Нетаньяху и господину Путину теперь приходится крепко задумываться о том, куда они могут поехать. МУС мог бы делать гораздо больше, но я считаю, что он все же выполняет полезную задачу.

Г. Б.: Я хочу добавить одну хорошую новость в копилку этого политического тренда. Новое правительство Южной Африки пересмотрело свое прошлое решение. Это уже третье государство, которое возвращается к Римскому статуту (ранее аналогично поступила Гамбия). Так что не все так плохо, мы можем зафиксировать определенные позитивные сигналы на этом направлении.

Дискуссия: вопросы и ответы

Елена Немировская: Спасибо большое за эту сессию. И спасибо, Нилс, за упоминание международного права и суда — и давайте не будем забывать, что Нилс был Европейским комиссаром по правам человека.

Мир сейчас увлечен Китаем, искусственным интеллектом, тем, что делать с миграцией. Я уже не говорю о войне в Украине или о противостоянии Израиля и мусульманского мира (который, к слову, тоже не стоит на месте). И никто не говорит о социальных сетях, где мнение необразованного человека становится реальным, осязаемым инструментом влияния. Мы часто бываем слишком уверены в том, что то, что мы делаем, — это единственно правильный путь. Я верю в образование, я верю в просвещение, но не только в него. Это все разные человеческие навыки, разные качества и возможности.

Я хочу напомнить о людях, у которых сама многому научилась. Был такой Лев Разгон — возможно, многие из вас слышали это имя. Он провел 18 лет в сталинских лагерях. Я как-то спросила Лёву: «А кто лучше, достойнее вел себя в лагерных условиях в повседневной жизни?» И он ответил без колебаний: «Аристократы». Почему так? Потому что это были люди, которых научили сохранять человеческое лицо и вести себя достойно при любых страшных обстоятельствах. И этот внутренний аристократизм помогал им выживать и оставаться людьми даже в лагерях смерти. Возможно, коллеги здесь со мной не согласятся. Но я верю, что мы собрались здесь вместе именно для того, чтобы понять,

как появляется в человеке внутренний аристократизм, сохраняющийся в любых ситуациях.

Мы не можем судить обо всем народе в России, но как могут люди — спокойно, обыденно, проверяя баланс на банковской карте, — соглашаться убивать по приказу людей в другой стране? Как можно было допустить, чтобы институт НКВД — КГБ после всех ужасов сталинских репрессий победно маршировал по стране? Я хочу, чтобы Нилс как аме-

*Если ситуация внутри
России не изменится, никто
добровольно в Гаагу не поедет*

риканец латвийского происхождения и Глеб как россиянин рассказали нам с позиции своего жизненного опыта, что мы должны делать для формирования и проявления человеческого аристократизма.

Модератор: Пока спикеры думают, давайте дадим слово залу.

Ксения Никонова, Москва — Берлин: Можем ли мы реально рассчитывать на Международный уголовный суд в контексте выданных ордеров на арест Путина и Марии Львовой-Беловой? Или же сегодня возможно только так называемое правосудие победителей по аналогии с Нюрнбергским трибуналом либо спецоперации вроде похищения Эйхмана? И как изменится международное право, если один из этих сценариев будет реализован?

Артем Орлов: Спасибо за выступление, но мне оно показалось чрезмерно оптимистичным. Мы живем в реальности, где международное право нарушается практически ежедневно. Особенно в этом году: гибель президента одной страны, удары по Ирану, трагические события в Палестине, я уже не говорю о продолжающейся войне в Украине. Откуда у вас берется этот оптимизм? Когда ключевые мировые лидеры сами нарушают международные нормы, они тем самым дают авторитарным лидерам идеальные аргументы для дальнейшего попрания права. Как в таких условиях оставаться последовательными?

Г. Б.: Оба вопроса очень масштабные, поэтому я постараюсь выделить главное. Что касается будущего правосудия, мы постоянно дискутируем об этом на площадке Школы. Единственного готового ответа нет, мы не знаем, каким будет финал. Я глубоко верю в саму идею Международного уголовного суда и защищаю его как действующий институт. Но я вижу и огромное количество системных проблем.

Да, у нас есть кейс Дутерте, есть другие процессы, но давайте смотреть на факты. За все время существования МУС, несмотря на колоссальные финансовые и моральные инвестиции, ни один действующий глава государства крупного калибра реально не предстал перед судом в Гааге. Этот институт пока эффективно работает в двух направлениях: либо против негосударственных акторов (полевых командиров, повстанцев), либо в ситуациях, когда это выгодно действующему правительству для

устранения своих политических оппонентов и врагов. Мы знаем, как и почему возникло дело против того же Дутерте — там замешаны глубокие внутренние политические причины и борьба партийных кланов.

К сожалению, в контексте войны в Украине я вижу только один реалистичный позитивный сценарий. Возможно, не все украинские коллеги со мной согласятся, но я убежден: ключ к правосудию лежит через глубокие внутренние изменения в самой России. Я верю, что, если ситуация внутри России не изменится, никто добровольно в Гаагу не поедет, это технически невозможно. Исторический и современный опыт не знает таких примеров. Это же касается и идеи Спецтрибунала по преступлению агрессии. В тех моделях, которые сейчас обсуждаются, к сожалению, уже заложены элементы компромиссов. Я бы не назвал это правосудием победителей, но это очевидная попытка создать институт под один конкретный случай. Потенциал у этих механизмов есть, но пока совершенно неясно, как они сработают на практике.

При этом на национальном уровне делается катастрофически мало. В рамках универсальной юрисдикции по тысячам совершенных преступлений мы видим лишь единичные завершённые процессы. Национальные судебные системы государств не справляются или не проявляют должной воли. Кремль по-прежнему обладает колоссальными ресурсами, включая силовой и полицейский аппарат. И европейские правительства зачастую думают в первую очередь о собственной безопасности. Поэтому главная драма разворачивается не в Гааге, а внутри российского общества: изменится ли ситуация в России? Мы с коллегами подробно описывали возможные сценарии и механизмы транзита в нашем докладе. Сотрудничать с МУС можно и нужно, но ситуация сейчас крайне сложная.

Теперь ко второму вопросу — по поводу оптимизма. Я бы не сказал, что я лично преисполнен оптимизма, я просто смотрю на международное право как на систему. Международное право страдает от тех же недугов, что и национальное (внутреннее) право. Мы ежедневно сталкиваемся с нарушениями Уголовного или Гражданского кодекса внутри стран, но мы ведь не заявляем на этом основании, что внутреннее право мертво или законы нужно отменить. Проблема, которую мы видим сейчас, — это колоссальный эффект информационной среды. Каждое brutальное нарушение международно-правовых норм моментально тиражируется и производит шоковый эффект.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем опаснейшую нормализацию вещей, которых в цивилизованном мире быть не должно: нормализуется применение силы, попираются права человека и нормы гуманитарного права. В оборот возвращается риторика мести и тотальной дегуманизации мирного населения или целых этнических групп. Я говорил о том, как мы обязаны на это реагировать: мы должны фиксировать эти нарушения и давать им жесткую оценку, мы не имеем права бояться

называть вещи своими именами. Это единственный интеллектуальный ресурс, который у нас остался. Трагедия нашего экспертного и гражданского сообщества в том, что мы слишком часто подменяем правовые нормы своими личными симпатиями и антипатиями. Посмотрите на разные конфликты: правительства и гражданское общество реагируют на абсолютно идентичные нарушения совершенно по-разному в зависимости от того, кто их совершил. Вот в преодолении этой предвзятости я вижу нашу главную задачу.

Н. М.: Попробую ответить на вопрос Лены о том, как нам воспитывать больше аристократов. Позвольте мне начать с заявления, что я больше не являюсь американцем. Я могу говорить как американец, могу выглядеть как американец, но я отказался от американского гражданства 13 лет назад, так что это не моя страна.

Что касается сути вопроса, я думаю, мы видим одну вещь, которую я усвоил за без малого 30 лет работы в сфере прав человека: это непре-

Ключевое значение имеют образование в области прав человека и гражданское просвещение

кращающаяся борьба, которую приходится вести каждому новому поколению. Уроки забываются, и люди заново усваивают дурные привычки. Эта борьба идет постоянно, в ней никогда нельзя победить раз и навсегда, этим нужно заниматься всю жизнь. И делать это становится все труднее, потому что

страны, катящиеся назад, или авторитарные режимы находят все более эффективные способы промывать людям мозги.

Я глубоко тревожусь за Венгрию, которая уже 15 лет подвергается государственной пропаганде о том, как ужасны абстрактные мигранты, как коварен Джордж Сорос и как отвратителен ЕС. Потребуется очень много времени, чтобы «депрограммировать» этих людей. Я надеюсь, что нынешний противоположный курс продержится достаточно долго, чтобы это сделать. Но даже на примере Польши мы видим, как трудно восстановить верховенство права и независимую судебную систему, имея самые благие намерения, прекрасного министра юстиции в лице Адама Боднара (моего старого друга) и добрую волю со стороны ЕС. Ликвидировать этот ущерб невероятно сложно.

Так что это непрекращающаяся борьба. Я считаю, что ключевое значение имеют образование в области прав человека и гражданское просвещение. Но также для меня очевидно: если у нас не будет свободных СМИ и не будет НКО, все кончено. Таким образом, эти три вещи — образование в сфере прав человека, независимая пресса, а также НКО и правозащитники, способные безопасно выполнять свою работу, — абсолютно необходимы для будущего прав человека.

Где искать оптимизм? Я не испытываю особого оптимизма по поводу общемировой ситуации. Я думаю, например, что в Европе мало кто заметил бы, если бы ООН прекратила свое существование завтра,

не думаю, что люди ощутили бы это в своей повседневной жизни. Но для многих регионов планеты ООН — это единственная соломинка, там больше ничего нет. Там нет абсолютно ничего другого, чтобы накормить или вылечить людей. Если вы поговорите с людьми в Палестине после закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), вы поймете, что там ничего не осталось. Сошлюсь на пример в Африке. Моя сестра только что звонила мне из Малави: без иностранной помощи страдания и смертность людей там станут неизмеримыми. Мы не увидим этого в Европе, но во многих уголках мира это обернется катастрофой.

В отношении Европы я настроен относительно оптимистично — я верю, что Европа выстоит, за исключением сферы миграции, где, как мне кажется, наметился очень нехороший тренд. Но когда мне становится тоскливо на душе, что я делаю? Я открываю свое любимое право-защитное стихотворение, которое называется «Смеющееся сердце» (The Laughing Heart) Чарльза Буковски. Я очень рекомендую это стихотворение и сейчас прочитаю его вам:

Твоя жизнь — это твоя жизнь.
Не позволяй забить ее в затхлую покорность.
Будь настороже.
Выходы есть.
Где-то струится свет.
Пусть его немного, но
он побеждает тьму.
Будь настороже.
Боги будут предлагать тебе шансы.
Узнавай их.
Пользуйся ими.
Ты не можешь победить смерть, но
ты можешь побеждать смерть в жизни — иногда.
И чем чаще ты будешь учиться делать это,
тем больше будет света.
Твоя жизнь — это твоя жизнь.
Знай это, пока она у тебя есть.
Ты великолепен.
Боги ждут возможности восхититься
тобой.

Никита Лёвкин, *Гаагский университет прикладных наук*: У меня вопрос к обоим спикерам. Как ранее справедливо отметил господин Муйжниекс, некоторые государства — члены Совета Европы демонстративно не исполняют решения Страсбургского суда. В частности, речь идет о Турции и Азербайджане. Какое решение в данном случае вы считаете идеальным? Как поступать с такими проблемными странами, которые не стремятся соблюдать предписания суда и имплементировать его



Рафаэль Лозано-Хеммер (Rafael Lozano-Hemmer). Инсталляция «Пульсирующая комната». 2019

решения? Что будет более эффективным: продолжать работать с ними внутри организации, пытаться убедить их, возможно, использовать какие-то финансовые стимулы либо же их нужно просто исключать? Заявить жестко: «Это “клуб демократий”, и, если вы продолжаете текущую линию, вам здесь не место». Какое решение, по вашему мнению, будет правильным?

Арсений: Большое спасибо за выступления, они отлично дополнили друг друга. Мне очень понравился тезис Глеба о том, что мы сегодня наблюдаем параллельное сосуществование двух подходов к международному праву и международным отношениям. Это созвучно со словами Нилса о том, что в определенный исторический момент наметился транзит от классической Вестфальской системы к системе, ориентированной на права человека и гуманные форматы политики. Однако этот романтический момент быстро прошел, и мы снова оказались внутри жесткого Вестфальского мира. Мой вопрос продолжает предыдущий: мы часто слышим, что есть условный «клуб демократий» (где все замечательно, все соблюдают правила и уважают институты, созданные после 1945 года), а вокруг находятся исключительно «плохие парни». Мой вопрос к обоим спикерам: как сделать так, чтобы все страны мира, а не только этот закрытый клуб, снова стали реально заинтересованы в соблюдении и поддержании международного права?

Н. М.: Я хочу вернуться к ответу, который дал Лене. Я считаю, что именно образование в области прав человека, свободные СМИ и НКО — это то, что поддерживает внутренний спрос на права человека. Если со стороны общества в целом такого спроса нет, права человека умрут — и неважно, какими будут законы. Поэтому нам нужно работать над сохранением и увеличением этого спроса на права человека.

Что касается того, как поступать с такими странами, как Азербайджан и Турция, на мой взгляд, Азербайджан следовало исключить уже очень давно. Это авторитаризм одной семьи: отец передает власть сыну, сын назначает свою жену вице-президентом — там никогда не было демократии. Люди часто говорят: «Ой, лучше пусть они будут внутри организации, чем снаружи». Я не согласен с этой логикой, потому что, как мне кажется, стоит спросить, получают ли граждане этой страны какую-то реальную выгоду от членства в Совете Европы? Я могу предположить, что граждане Азербайджана не так уж много выигрывают от членства в Совете Европы, особенно юристы, которые подвергаются систематическому преследованию со стороны властей после того, как направляют дела в Европейский суд по правам человека.

*Нам нужно работать
над сохранением и увеличением
спроса на права человека*

Помогло ли в итоге членство России? Даже если отдельные лица получали денежные компенсации от суда, членство России и ее открытое поспориение стандартов действовали настолько разрушительно на саму организацию, что, я думаю, Совету Европы без России внутри сейчас только лучше. Организация может стать более сплоченной, она может продвигаться вперед в других сферах.

Турция — более сложный случай. Я бы сказал, что она все еще извлекает определенную выгоду от членства, но с самого начала она была ареной систематического насилия. Нет других стран, в которых вводились бы столь длительные режимы чрезвычайного положения и происходили бы жестокие внутренние конфликты, при которых права человека просто выбрасывались в окно. Тем не менее ее членство вело к значительному прогрессу примерно до 2013 года, а с тех пор все покатилося по наклонной.

Суд может делать гораздо больше: он способен связывать дела между собой и приходиться к более далекоидущим выводам. Комитет министров может делать больше, поддерживая комиссара. Генеральный секретарь может делать больше, проводя по-настоящему стратегические расследования на основании статьи 52. Парламентская ассамблея может обеспечивать соблюдение своих собственных правил, чего она вообще не делала в отношении Польши и Венгрии вплоть до самых последних этапов игры. Так что сделать можно многое. Может ли эта организация полностью искоренить авторитаризм? Не думаю. Она способна на большее,

чем делает сейчас, но базовый профиль государства определяется внутри самого этого государства — является ли оно демократией или нет и какой именно демократией. Это невозможно полностью навязать извне.

Г. Б.: Я согласен со всем, что сказал Нилс.

Арсений Кудабаяев, Казахстан: Считаете ли вы, что современное международное право формировалось в рамках специфических исторических условий, с другим балансом сил и участием других государств, в которых доминировали определенные идеологии? Можно ли говорить о кризисе международного права, обусловленном изменениями в мировой системе?

Асенет, Армения: Я бы хотела вернуться к вопросу исполнения решений Международного суда ООН. Вы знаете, что многие страны не выполняют решения Международного суда, включая Азербайджан. И сейчас рассмотрение многих дел фактически застопорилось. Страны начинают задумываться, имеет ли вообще смысл двигаться дальше и добиваться

*Совету Европы без России
внутри сейчас только лучше.
Организация может стать
сплоченнее*

какого-то финального решения, если противоположная сторона все равно игнорирует эти вердикты. Вы сказали, что Азербайджан лучше исключить из Совета Европы, но вы действительно думаете, что от этого ситуация станет

хуже? Мне кажется, там, наоборот, вздохнут с облегчением и скажут: «Отлично, теперь у нас вообще нет никаких международных обязательств». Может быть, правильнее думать о механизмах принуждения к исполнению? Я понимаю, что мирового правительства для наказания стран не существует, но без механизмов воздействия само существование Международного суда теряет смысл, ведь мы просто тратим время и ресурсы на решения, которые остаются на бумаге.

Н. М.: Нужны ли нам новые международные договоры? Я так не думаю. Я считаю, что у нас предостаточно договоров. То, что действительно важно, — это исполнение уже существующих соглашений. Мне кажется, глубинным вопросом, который прозвучал у вас обоих, был следующий: насколько легитимны права человека в глобальном масштабе? Я бы предположил, что они все еще вполне легитимны. Можно утверждать, что большинство инструментов в области прав человека были созданы сразу после Второй мировой войны, когда мир контролировал Запад, а многие страны еще не были независимыми и не имели своего места за столом переговоров. Но в конечном счете эти договоры и последующая судебная практика развивались при активном участии всех стран. Все принимали участие во всемирных конференциях по правам человека в Вене и в других местах. Так что, даже если они не сидели за этим столом в 1948 году, они сидели за ним впоследствии — абсолютно все. Права человека теперь принадлежат каждому.

Вопрос заключается в том, как нам бороться с попытками делегитимизировать права человека или исказить их, как это делает Китай, пытаясь говорить о государственном суверенитете и экономическом развитии как о неотъемлемой и основной части прав человека. Эта дискуссия велась с самого зарождения системы прав человека. Какая конкретная проблема изначально заставила Генеральную Ассамблею ООН согласиться с тем, что нарушения прав человека внутри страны не являются внутренним делом этой самой страны? Это был апартеид в Южной Африке. Позже это также происходило вокруг геноцида в Сребренице, но в самом начале был апартеид. Индийские делегаты встали и заявили: «Это вопрос, касающийся всего международного сообщества». И все в итоге согласились. Поэтому всякий раз, когда люди ставят это под сомнение, я говорю: подумайте о самой ужасной ситуации с правами человека, какую вы только можете вообразить в мире. Является ли она законным предметом заботы международного сообщества? И я решительно утверждаю, что является.

*То, что действительно
важно, – это исполнение
уже существующих
соглашений*

По поводу Азербайджана — нет, исключение Азербайджана из Совета Европы напрямую не помогло бы азербайджанскому народу, но оно решительно помогло бы самому Совету Европы. Это помогло бы организации стать более сплоченной, более последовательной и верной своим ценностям. Как принуждать страны? Как я уже говорил, есть много вещей, которые правовые институты внутри Совета Европы могут делать более эффективно, но, к сожалению, организация не может насильно навязать демократию стране, которая фундаментально не является демократической. Или, может быть, к счастью, я не знаю. Так что я бы сказал, что Совет Европы теряет гораздо больше от присутствия Азербайджана внутри, чем выигрывает.

Г. Б.: Я добавлю: я не верю, что гипотетическое изменение механизмов Совета Безопасности ООН или написание новых договоров принесет нам качественные изменения.

Тоня: Я постараюсь быть очень краткой. Я сижу и буквально киваю, как пресловутая собачка под лобовым стеклом автомобиля, потому что вы говорите об экзистенциально важных вещах. Мой вопрос касается действенности институтов. Мы видим двух лидеров — Владимира Путина и Беньямина Нетаньяху, в отношении которых выписаны (или запрошены) ордера Международного уголовного суда. При этом они чувствуют себя вполне комфортно и продолжают путешествовать по миру. Сами эти визиты выглядят как откровенное издевательство над международным уголовным правом. Ведется ли на экспертном уровне дискуссия о создании более жестких механизмов ответственности, помимо простой декларации ордера? Потому что создается ощущение, что мы держимся

за старый, неработающий формальный механизм, который на наших глазах превращается в бутафорию. Извините, если это прозвучало резко.

Николай Башмаков, Институт Андрея Сахарова, Париж: У меня вопрос практического свойства, он касается права на убежище в ЕС. Мы наблюдаем, как миграционное законодательство в Европе стремительно ужесточается: сроки рассмотрения апелляций хотят сократить буквально до трех месяцев. Из-за этого люди, получившие первичный необоснованный отказ, моментально оказываются в серой зоне, под угрозой депортации из ЕС в опасные для них регионы. Я говорю в том числе об антивоенно настроенных релокантах из России. На практике возникает пугающее ощущение, что в этой сфере человеческая жизнь перестает быть ценностью, а люди превращаются в некий расходный материал. Финансирование и ресурсы правозащитных организаций, призванных защищать этот контингент, урезаются. Мы сталкиваемся с бюрократической жесткостью и скрытой демонизацией беженцев. Ведется ли правозащитным сообществом какая-то системная работа, чтобы вернуть миграционную политику европейских властей в гуманитарное русло?

Тоня: И мой второй вопрос вдогонку к дискуссии. Вчера на панелях обсуждался гипотетический сценарий: что произойдет с международными институтами, если война в Украине остановится по текущей линии фронта, а путинский режим полностью сохранит свою власть? На мой взгляд, это катастрофический сценарий, так как внутри России это приведет к тотальному закручиванию гаек и массовым репрессиям, а для Украины и Европы Россия останется источником вечной экзистенциальной угрозы. Но если этот сценарий реализуется, что в таком случае произойдет с инициативами Спецтрибунала и с ордерами МУС? Они просто будут аннулированы в угоду политическому компромиссу?

Н. М.: Многие ваши вопросы, по сути, сводятся к одному и тому же: как нам сделать эту систему более эффективной? Как заставить ее работать?

Когда я занимал пост Комиссара по правам человека, я часто говорил, что моим главным оружием были слова — у меня не было абсолютно ничего, кроме слов. И я думаю, что слова нам действительно нужны, но, когда я работал в Amnesty International, у организации были не только слова, но и миллионы людей, которых она могла активно мобилизовать. Просвещение в области прав человека было частью каждой кампании, каждая крупная инициатива содержала в себе солидный образовательный компонент. Так что, на мой взгляд, вам нужны слова, вам нужны люди и вам нужно просвещение.

Очень часто это работает против прав человека, но порой мотив извлечения прибыли тоже может приводить к решениям. Позвольте мне объяснить. Что касается права, как я уже отмечал, закон — это инструмент. Он не является самоцелью, иногда это просто полезное средство. Но я думаю, что мы должны быть максимально стратегическими,



Минерва Куэвас (Minerva Cuevas). Морской пейзаж. 2012

изобретательными и гибкими. Пример истинного творческого и стратегического подхода, на который я указывал в последнее время, — это Литва. Обращение Литвы в МУС по поводу Беларуси, а также то, как Литва задействовала Международный суд ООН совершенно беспрецедентным образом в вопросе государственной контрабанды мигрантов. Я считаю, что это великолепно — маленькая страна с несколькими креативными юристами, которые хотят активно использовать существующие инструменты. Я искренне желаю, чтобы таких примеров было больше.

Нам необходимо быть гораздо более изобретательными в правозащитной сфере на национальном уровне, и нам нужно лучше выстраивать коммуникацию вокруг прав человека. Сейчас ведется большая работа над стратегиями коммуникации. Привлекаются специалисты по нейролингвистическому программированию, руководители рекламных агентств и пиарщики, чтобы обсудить, что действительно работает и как взывать напрямую к эмоциям людей — ведь «плохие парни» делают это просто мастерски.

Нам необходимо очень серьезно и решительно заняться экономическими, социальными и культурными правами, которыми многие слишком долго и незаслуженно пренебрегали. Нам также нужно обратить внимание на совершенно новых акторов, вовлеченных в деятельность, связанную с правами человека. К примеру, последние полгода я

Необходимо быть более изобретательными в правозащитной сфере на национальном уровне

сотрудничаю с Ассоциацией социального предпринимательства — это коммерческие компании, которые хотят приносить общественную пользу. Эти люди каждый день делают реальную правозащитную работу, но они вообще не используют правозащит-

ную терминологию. Они интегрируют людей с инвалидностью в рынок труда, они помогают украинским беженцам находить жилье, они ремонтируют и дают вторую жизнь старым советским зданиям. Они делают фантастическую работу, просто не называют ее защитой прав человека. Но во многих отношениях это именно она и есть. Так что нам нужно искать таких новых партнеров для сотрудничества.

И что я могу сказать о рыночных силах? Недавно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил результаты новых исследований, показывающих, что впервые в истории альтернативы ископаемому топливу являются наглядно более выгодным финансовым вложением, чем само ископаемое топливо. То есть, иными словами, рынок в действительности может помочь нам спасти планету, чего еще несколько лет назад никто не мог даже вообразить. Но законы рынка диктуют: если вы умны, то вы инвестируете в альтернативное экологически чистое топливо и не станете продолжать вкладывать деньги в умирающую отрасль ископаемого топлива. И это тоже вселяет в меня искреннюю надежду на то, что иногда рынок может оказывать глубоко позитивное влияние. На этой оптимистической ноте я и закончу.

Безголовый ИИ Ученые и изобретатели клятв не дают

Я спросил друга, как он относится к тому, что на сайте Школы появится колонка «Безголовый ИИ», и он не задумываясь ответил: «Определение забавное и при этом бесспорное, ведь у ИИ действительно нет ни головы, ни мозгов».

Запретный плод сладок, и искушение его попробовать по-прежнему велико. Что и демонстрирует искусственный интеллект, которым продолжают восхищаться сегодня не только дети, но и — вполне осознанно — взрослые. Потому что ИИ захватывает наше воображение все сильнее, вызывая невольно в памяти библейский сюжет о грехопадении. Напомню его.

Во второй главе Книги Бытия говорится, что Бог запретил Адаму и Еве есть плоды с древа познания добра и зла в созданном для прародителей человечества Эдемском саду. Но не запрещал познание природы, скажет в начале эпохи Нового времени английский философ Фрэнсис Бэкон. И поэтому люди должны понять, что существуют два рода познания: познание сотворенных Богом вещей и познание добра и зла. И, нарушив запрет на познание добра и зла, они умрут. То есть это познание, согласно Библии, для людей под запретом. Его дает Бог через Библию. А за нарушение этого запрета следует утрата невинности, что и произошло, когда Адам и Ева обрели самосознание и узнали о различии между добром и злом. Что же касается сотворенных вещей, то их человек должен познавать с помощью своего ума.

Итак, с одной стороны, изгнание из рая и суровая реальность: заразные болезни, тяготы труда и определенное смирение с конечностью человеческой жизни. А с другой — вопрос: возможно ли тогда познание добра и зла без Бога? Ведь люди продолжают творить зло — враждовать, воевать, убивать — и после появления очередного фундаментального научного открытия и технологического изобретения,



Юрий Сенокосов,
главный редактор
журнала «Общая
тетрадь»

каким является ИИ. Хотя, как когда-то сказали участники международного Пагуошского движения ученых за мир, не для этого изобретали они атомную энергию.

А сегодня это подтверждает энциклика папы Льва XIV Magnifica Humanitas («Великолепное человечество»), в которой говорится: «Так называемые искусственные интеллекты не проживают опыт, не обладают телом, не проходят через радость и боль, не созревают в отношениях и не знают изнутри, что значат любовь, труд, дружба, ответственность».

*Люди продолжают
творить зло и после
появления очередного
научного открытия*

Искусственный интеллект в цифровую эпоху необходимо «разоружить», призывает энциклика.

Как и любая технологическая сила, ИИ, бесспорно, нуждается в общественном контроле. Тем более во время войны, которая уничтожает человеческие жизни и плоды человеческого тру-

да, а предназначение науки, как известно, в том, чтобы обеспечивать познание и благосостояние людей, их комфортную и достойную жизнь. И появление искусственного интеллекта имеет, несомненно, к этому отношению наряду с философией и религией. Эти три сферы духовной культуры (наука, философия и религия), формируя мировоззрение человека, отвечают на вечные вопросы (о смысле жизни, происхождении мира и месте человека в нем), но используют при этом разные методы поиска истины, которая, продолжая оставаться тайной в религиозном, мистическом контексте, ни на чем не держится, но держит все остальное.

Как же нам относиться в таком случае к познанию? Не позволять искусственному интеллекту его монополизировать, а значит, сдерживать и монополию на интеллектуальное насилие.

Что нужно делать, чтобы выжить в эпоху ИИ и кризисов? Отто Шармер, преподаватель MIT, автор книги «Теория U» и сооснователь Presencing Institute, видит выход в переходе ко Второму осевому времени — долгосрочной глобальной трансформации сознания. Он призывает восстанавливать доверие между людьми, чтобы заменить технократический подход к миру совместным духовным осмыслением, экологической совестью и глубокой осознанностью. Консультант по ИИ Грег Твемлоу¹ считает подход Шармера утопически медленным в условиях, когда капиталистическая машина уже сегодня превращает работников в пушечное мясо ради быстрой монетизации триллионных инвестиций в ИИ. По его словам, спасение нужно начинать не с коллективного «мы», а с немедленной индивидуальной самозащиты. Можно ли перейти к совместному осмыслению и осознанности на институциональном уровне? И как прямо сейчас следует защищать свой разум от алгоритмов? Пересказываем полемику Шармера и Твемлоу.

Вступаем ли мы во Второе осевое время?

Как человечеству выжить в эпоху искусственного интеллекта²

Примерно 2500 лет назад, пишет Отто Шармер, на фоне краха цивилизаций бронзового века, распада империй, соперничества городов-государств и волн миграции и войн, менявших социальные структуры, основанные на мифах традиции больше не могли удерживать вес человеческого опыта. Появились вопросы нового рода: что значит быть человеком? как нам жить? каково наше место в общем устройстве мира? Стремясь найти ответы на эти вопросы, китайские мыслители — Конфуций, Лао-цзы и Чжуан-цзы — обращались к этике, гармонии и сонастроенности с дао. В Индии традиции Упанишад, Будда и Махавира погрузились в исследование природы сознания, освобождения и ненасилия. В Персии Заратустра описал космическую битву между добром и злом. В еврейской культуре пророки — и прежде всего



Отто Шармер



Грег Твемлоу

¹ Twemlow G. The Pragmatist's Guide to the Next Human Epoch // Medium. 14 May 2026. <https://gregtwemlow.medium.com/the-pragmatists-guide-to-the-next-human-epoch-a318a2a58fd2>

² Шармер О., Твемлоу Г. Вступаем ли мы во Второе осевое время? Как человечеству выжить в эпоху искусственного интеллекта // Sapere Aude. 27 мая 2026. <https://sapere.online/vstupаем-li-my-vo-vtoroe-osevye-vremya/>

Исайя — призвали к справедливости и этическому монотеизму. А в Греции Сократ, Платон и Аристотель положили начало системному изучению морали, познания и устройства реальности.

«Немецкий философ Карл Ясперс назвал это осевым временем. Общим для этих движений, несмотря на их огромные различия, было открытие более глубокого внутреннего измерения человеческого существа. Они развили способности к моральной рефлексии, состраданию и формулированию универсальных этических принципов. Открылась

Социальная почва радикально истощена, что приводит к трем разрушительным симптомам

новая вертикальная ось, связавшая внутреннюю жизнь человека с чем-то трансцендентным: универсальным моральным порядком, основой бытия, более глубоким источником за пределами самого себя», — пи-

шет Шармер. Первое осевое время раскрыло глубины индивидуального внутреннего мира. Но, сделав это, оно также начало ослаблять опыт соотношения себя с целым, отмечает автор.

Сейчас социальная почва радикально истощена, полагает Шармер, что приводит к трем разрушительным симптомам: аномии (эрозии наших моральных норм), атомии (распаду социальных связей, ведущему к одиночеству и поляризации) и атрофии (постепенной утрате человеческой субъектности). В этих условиях никакая структурная перестройка не может это компенсировать, объясняет он: структуры становятся полыми, координация рушится, конфликты и войны учащаются, система пожирает свои собственные основы.

Эти три симптома связывает еще одно, четвертое измерение — искусственный интеллект, который представляет собой «единую вычислительную форму познания, рассматривающую мир как набор объектов». Все это влияет на человечество подобно тому, как промышленное сельское хозяйство заменило разнообразие живой почвы химическими удобрениями и монокультурами — продуктивными в краткосрочной перспективе, но разрушительными со временем, считает Шармер. Только в 2026 году в ИИ планируют вложить более 2,5 триллиона долларов, однако человеческая сторона уравнения — развитие чувствования, построения отношений и осмысления — не получает из этого почти ничего.

Одно из следствий развития и повсеместного внедрения ИИ — когнитивный долг: мозг, как и большие языковые модели, деградирует, будучи оторванным от источников своей вовлеченности. Когда форма познания потребляет свои собственные основы, вся система деградирует, отмечает автор.

«Это истощение почвы в цивилизационном масштабе. Мы видим, как оно проявляется в углублении экологического опустошения, такого как изменение климата и потеря биоразнообразия; в социальных

расколах, включая поляризацию и войну; и в духовных последствиях, таких как безнадежность и чувство ничтожности. И вот мы оказываемся на пороге, где планетарный поликризис требует не просто лучшей политики или технологий, но сдвига в структуре нашего сознания», — пишет Отто Шармер.

Переход от небольших обществ охотников-собирателей к сложным цивилизациям был тем вызовом, который дал начало Первому осевому времени. Сегодня планетарный поликризис климатического хаоса, массовой миграции, разрастающихся войн и преобразующего ИИ представляет собой разлом сопоставимого масштаба.

Впервые в истории человечества вызовы, с которыми оно сталкивается, требуют планетарного ответа. Если Первое осевое время углубило интериорность (внутренний мир) на индивидуальном уровне, то нынешний порог требует чего-то структурно нового — углубления коллективной интериорности. «Как фасилитатор многих групповых процессов в местных сообществах и междunarодных институтах я был поражен вопросами, которые за последний год или два слышал чаще, чем когда-либо прежде: что значит быть человеческим существом? кто я? для чего я здесь? для чего мы здесь? Что примечательно, это те же самые вопросы, которые прорвались во время Первого осевого времени, — теперь они возникают в коллективной среде».

*Нам нужен новый
общественный договор
для эпохи ИИ*

Чтобы осмысленно считаться с такими вопросами, необходимо обратиться к «социальным технологиям лидерства на основе осознанности, методам, инструментам и структурам поддержки для возделывания социальной почвы, из которой возникает коллективная субъектность», полагает Шармер. Наши образовательные экосистемы должны перейти от передачи знаний к развитию мульти- и метаэпистемических способностей. Информационные и медиаэкосистемы должны перейти к коллективному осмыслению, а демократические структуры — трансформироваться из нынешних форм в совещательные пространства, где граждане учатся вместе, чувствуют вместе и вырабатывают рекомендации на основе общего понимания, а не партийного позиционирования.

Шармер объясняет, что системные изменения в гиперсложных системах происходят «не через централизованный контроль и не через абстрактные генеральные планы», а через «островки когерентности», которые «в море хаоса обладают способностью переводить всю систему на более высокий порядок»: «Гражданские инфраструктуры, гражданские ассамблеи, переосмысленные школы, регенеративные фермы, целенаправленные предприятия, новый общественный договор — все это образцовые островки когерентности, которые нам необходимо лелеять, сплетать и соединять в разных местах и регионах».

Отто Шармер настаивает: «Нам нужен новый общественный договор для эпохи ИИ. Наш извлеченный опыт продается и используется как оружие против нас, чтобы перенаправить внимание на платный контент и активировать гнев, ненависть и страх ради максимизации вовлеченности пользователей. Эти компании наносят вред миллиардам людей, создавая триллионные технологические империи, которые продолжают подрывать наши демократические и социальные основы — нашу социальную почву. Нам необходимо вернуть наш суверенитет над данными, признав, что люди и их сообщества являются субъектами, а не сырьем для экономики, основанной на ИИ», — резюмирует автор.

На эссе Отто Шармера отреагировал Грег Твемлоу. По его мнению, видение Шармера о регенеративной, ориентированной на сердце эре прекрасно и глубоко актуально. Однако веру в то, что эти коллективные островки когерентности смогут опередить нашу нынешнюю экономическую реальность, он считает несвоевременной. Сначала нам «нужна тактическая, индивидуальная защита», утверждает он. Твемлоу уверен: мы «не сможем исцелить социальную почву, пока не признаем буквальную почву нашей священной божественностью».

Примерно 2000 лет назад мы абстрагировали божественное от природного мира, начав относиться к непреложным основам жизни — рекам, лесам и океанам — как к расходным материалам в процессе торга. «Следовательно, видение Шармера о регенеративном общественном течении биологически и философски невозможно, если мы продолжим совершать экологическое матереубийство. Истинное Второе осевое время требует экологической совести, в которой мы видим нашу собственную святость как полностью вложенную в живую, дышащую Землю. Прогресс больше не должен измеряться тем, что мы извлекаем из природы, но тем, может ли человеческая жизнь стать более разумной, не становясь более паразитической», — пишет Грег Твемлоу.

«Островки когерентности» Шармера он называет правильным коллективным направлением, но полагает, что «институциональные изменения почти наверняка будут происходить медленнее, чем силы, уже меняющие обычную жизнь». Институты склонны медлить до тех пор, пока промедление можно оправдать, защищая свои унаследованные иерархии и ритмы. По словам Твемлоу, ИИ приходит не в нейтральную среду; его разворачивает капиталистическая машина, которая рассматривает мир как масштабную проблему эффективности, требующую решения: «Тот же самый капиталистический образ мышления, который относится к матери-земле как к беспрепятственному ресурсу для добычи, также относится к человеческому познанию как к беспрепятственному ресурсу для автоматизации. Он активно превращает работников умственного труда в пушечное мясо для удовлетворения своих долгов и стимулирования быстрой монетизации». При таких вводных островки когерентности Шармера «рискуют быть быстро опереженными или

раздавленными этой системой», если у отдельных людей не будет тактического способа защитить свою собственную когнитивную ценность.

Каждый человек должен начать строить для себя сам, утверждает Твемлоу и предлагает концепцию «прорывной автономии», которая «дает именно ту броню, которая вам нужна»: «Прорывная автономия — это протокол использования ИИ для более быстрого закрытия пробелов в знаниях и возможностях без отказа от авторства или проницательности. Пассивные работники, которые позволяют алгоритмам думать за них,

Твемлоу предлагает концепцию «прорывной автономии», которая «дает именно ту броню, которая вам нужна»

будут быстро вытеснены. <...> Поддерживая authorship legibility, то есть делая видимым, что ваши слова и суждения узнаваемо принадлежат вам, вы гарантируете, что ваше человеческое влияние по-прежнему будет пользоваться доверием».

Грег Твемлоу призывает ввести в действие «человеческую паузу»: например, задать себе вопрос «Какой конкретный акт сложности я совершу сегодня, чтобы определить себя как человека?» и записать ответ в физический блокнот, а сталкиваясь с продиктованным системой выбором, «сознательно отказываться от простой передачи полномочий алгоритму». Второе осевое время — прекрасный пункт назначения, но оно не будет преподнесено нам просвещенным обществом, утверждает автор. По его словам, «мы должны перестать грести в реке, которая нас больше не несет, и взять на себя яростную, прагматичную ответственность за наши собственные пути через этот разлом». Это единственный способ «обеспечить будущее, в котором человеческая жизнь становится более разумной, не становясь более разрушительной», резюмирует он.

Пересказала Наталья Корченкова

Эпоха войн, когда исход сражений определяли солдаты на передовой и тяжелая техника, стремительно уходит в прошлое. Пока оборонные ведомства сверхдержав продолжают тратить миллиарды на громоздкие истребители и танки, на полях сражений в Украине и на Ближнем Востоке прямо сейчас разворачивается крупнейшая технологическая революция в истории человечества. Как дешевые дроны за 500 долларов обнуляют доктрины НАТО, почему искусственный интеллект уже сегодня угрожает основам ядерного сдерживания и что ждет мир в эпоху автономных боевых систем — пересказываем, что об этом говорят военные аналитики.

Автономное поле боя: как теперь выглядит война и что это означает для всех нас

Новые технологии уже бесповоротно изменили облик современной войны, пишет главный редактор журнала *Noëma* **Натан Гардельс**¹. Саму природу ведения войны изменил прежде всего конфликт в Украине, который стал «первым конфликтом, где используются высокоточные беспилотники с поддержкой ИИ». С их помощью украинские вооруженные силы «все чаще переносят войну вглубь российской территории», отмечает Гардельс: «Точно так же наибольший ущерб важнейшей инфраструктуре богатых нефтью и газом государств Персидского залива — союзников США в самый разгар горячей войны с Ираном был нанесен недорогими роями беспилотников».

Гардельс поговорил с бывшим генеральным директором Google **Эриком Шмидтом**², который сейчас перешел в оборонную сферу. Шмидт называет внедрение ИИ и беспилотников в боевые действия «крупнейшей в истории революцией в военном деле». По его мнению, первое, что необходимо понять, — это то, что мы переходим от традиционной

*В будущем линия фронта
превратится в аналог
ничейной земли времен
Первой мировой войны*

«войны платформ» к «войне систем». «Правильная единица анализа, — цитирует его Натан Гардельс, — это не беспилотник, не ракета и не пусковая установка. Это интегрированная архитектура, которая позволяет военным видеть, принимать решения,

коммуницировать, наносить удары, выживать и обновляться быстрее, чем ваш противник. В будущем линия фронта превратится в аналог ничейной земли времен Первой мировой войны: из-за обилия датчиков и беспилотников любое движение будет означать немедленный удар».

Кроме того, отмечает Шмидт, «любое оружие будет поддерживаться искусственным интеллектом», а уже совсем скоро «люди будут вступать в бой последними, а не первыми». Какую же роль в этой архитектуре будет играть человек? Шмидт замечает, что в марте этого года 96% российских потерь произошли в результате ударов украинских беспилотников,

а оператор беспилотника сейчас — «самая ценная цель на поле боя». По его мнению, в будущем человек, скорее всего, окажется «над контуром» распределенной системы, а не всегда «в контуре»: «...он будет осуществлять надзор, аудит и вмешиваться, когда что-то идет не так, но не обязательно одобрять каждый отдельный выстрел».

Позволит ли высокоточное наведение с помощью ИИ уменьшить сопутствующий ущерб во время войны или же просто повлечет за собой более широкие масштабы разрушений? Раньше, рассказывает Шмидт, можно было вести либо «массированный, но неточный артиллерийский огонь», либо «точно стрелять небольшим количеством дорогого высокоточного оружия», но теперь «дешевые беспилотники, дешевый GPS и дешевые датчики перевернули этот компромисс с ног на голову». «В Украине FPV-дроны в руках обученных операторов привели к минимальному сопутствующему ущербу в тех столкновениях, которые я видел. Бессмысленные массовые удары артиллерии, сравнивающие с землей целый городской квартал, гораздо хуже, чем беспилотник за 500 долларов, влетающий в одно-единственное окно. Это самый сильный аргумент в пользу эпохи высокоточной массы».

«Будет ли такая развивающаяся логика ведения войны применима и к ядерной стратегии?» — задается вопросом Натан Гардельс. В случае ядерного оружия цена ошибки может стать концом цивилизации, и «аргументы в пользу скорости, обеспечиваемой ИИ, наиболее слабы», полагает Эрик Шмидт. Единственное, что хуже человека, держащего палец на атомном спусковом крючке, — это ИИ, готовый мгновенно открыть огонь на основании ошибочных разведданных, резюмирует Гардельс.

Более того, Шмидт полагает, что «по мере развития ИИ и его интеграции в разведывательный процесс он может поставить под сомнение давние основы ядерного сдерживания»: «Ядерная стратегия всегда опиралась на допущение, что каждая сторона обладает потенциалом ответного удара. Однако по мере того как ИИ все лучше находит скрытые подводные лодки или мобильные пусковые установки, эта предпосылка разрушается. Кроме того, центры обработки данных и компьютерные центры, которые обучают ИИ, могут сами по себе выглядеть как цели. Это именно тот разговор, который Соединенные Штаты, Китай и Россия должны вести сейчас подобно тому, как ядерные державы во время холодной войны вели переговоры об ограничениях на испытания и на определенные средства доставки».

Меняется и арифметика ведения войны. Так, по словам Шмидта, «американская военная доктрина до сих пор выстроена вокруг сверхсложных, дорогих платформ, предназначенных для такого типа конфликта, который больше не ведется». Он подчеркивает, что методы

*По мере развития ИИ
он может поставить
под сомнение давние основы
ядерного сдерживания*

ведения войны меняются так стремительно, что даже страны с огромными запасами оружия больше всего боятся одного: что их соперники окажутся гибче и быстрее приспособятся к новым технологиям, перехватив инициативу.

Те же тенденции фиксируют и другие военные аналитики, в частности **Дэвид Петреус**, научный сотрудник Йельского университета, экс-директор ЦРУ, также прежде занимавший высшие военные должности в США, и **Айзек Флэнаган**, сооснователь Zero Line, некоммерческой организации, которая исследует критические потребности в оборонном секторе Украины. «Очень скоро автономные системы перестанут действовать поодиночке; со временем они сформируют подразделения размером с целый взвод или даже с батальон, которые будут обмениваться информацией и координировать действия без вмешательства человека. И та сторона, которая будет ждать одобрения человека перед тем, как начать действовать, проиграет», — пишут они в статье для *Foreign Affairs*³.

По их словам, этот переход «требует от вооруженных сил переосмысления не просто характера командования, но и самой фундаментальной природы войны». Так, например, уже сейчас украинские военные техники собирают миллионы дронов ежегодно (3,5 млн в прошлом году и потенциально 7 млн — в этом), в то время как в США производится только 300–400 тыс. Не менее важно «разработать новые концепции и доктрины, скорректировать организационные структуры и внедрить новые виды военного образования и подготовки, которых потребует автономная война», пишут авторы. «То, какие именно армии первыми изменят свой взгляд на командование и на то, как эволюционирует природа войны, определит, какие страны победят в войнах будущего», — подчеркивают они.

Еще до недавнего времени беспилотники зависели от человека у пульта управления, но «порог автономности уже перейден в Украине», пишут Петреус и Флэнаган: «Беспилотные системы, развернутые как Киевом, так и Москвой, все чаще по умолчанию переходят на бортовое программирование, когда глушение прерывает их каналы связи, и продолжают выполнение своих задач до тех пор, пока контроль человека не восстановится или миссия не будет завершена». Не за горами и более фундаментальный сдвиг: автономия с момента запуска, считают авторы. Это означает, что системы будут координировать действия с другими элементами, реагировать на меняющиеся условия и выбирать среди разрешенных действий при отключении от человеческого контроля.

Но Петреус и Флэнаган предостерегают: те, кто сейчас бросится производить беспилотники, «рискуют упустить из виду более глубокую суть»: «Преимущество в грядущую эпоху <...> достанется той стороне, которая первой разработает оперативные концепции применения [беспилотников], а затем перестроит под них системы командования



Джеймс Брайдл (James Bridle). Тень хищного дрона. 2018

и управления». При этом есть решения, которые «должны будут оставаться исключительно человеческими при любом типе конфликта»: люди должны решать, когда идти на эскалацию, как взаимодействовать с населением и служит ли удар политическим целям или подрывает их, полагают авторы.

Пересказала Наталья Корченкова

¹ Gardels N. The Warfare Of The Future Is Already Here // Noëma. 17 June 2026. www.noemamag.com/the-warfare-of-the-future-is-already-here/

² AI & Drones: Eric Schmidt On The Biggest Revolution In The History Of Warfare // Noëma. 16 June 2026. www.noemamag.com/ai-drones-eric-schmidt-on-the-biggest-revolution-in-the-history-of-warfare/

³ Petraeus D., Flanagan I. C. The Autonomous Battlefield And Why the U.S. Military Isn't Ready for It // Foreign Affairs. 12 March 2026. www.foreignaffairs.com/middle-east/autonomous-battlefield



*Диана Пинто,
историк,
писательница (Париж)*

*Два типа концепции «никогда больше»**

Введение. Исторический контекст и кризис доверия

Как историк я понимаю всю тяжесть ускользающего времени и то, с каким терпением вы слушаете нас, людей старшего поколения, рассуждающих о золотых или полужолотых временах. Мы находимся в другой части мира, в другом моменте. Поэтому я попытаюсь осветить тему, которую, если бы мне нужно было дать ей название, я бы озаглавила «Как примирить два разных типа концепции “никогда больше”». Примирить то «никогда больше», о котором я расскажу сейчас и которое лежит в основе послевоенной Европы, с другим «никогда больше», а именно с принципом «никогда больше с нами». Эти два понятия являются зеркальными отражениями друг друга, и дальше я объясню почему.

В наши дни утверждения «я в Португалии», «я в Польше», «я в Италии», «я в Швеции» кажутся совершенно обыденными. Вы находитесь внутри Европы, и это не просто вопрос таких технических деталей, как, например, появление Брюсселя как европейского центра, падение Берлинской стены, последующее расширение Европы и поступающие до сих пор заявки на вступление в Европейский союз.

Все это крайне важно, но еще важнее, сколько времени ушло на то, чтобы страны начали доверять друг другу. По происхождению я итальянка, сейчас живу во Франции, раньше жила в Америке. Я точно знаю, что количество времени, которое потребовалось французским полицейским, чтобы начать доверять итальянским коллегам, просто невообразимо. Когда итальянцы совершали теракты, французы говорили: «Мы ни за что не выдадим этих террористов Италии,

* Выступление на семинаре Школы 26 мая 2026 г. в Риге.

потому что там мафия, паршивая демократия, да и кто они вообще такие?» Это отравляло франко-итальянские отношения на протяжении всех 1970–1980-х и части 1990-х годов.

Сегодня, когда заходит речь об этих разногласиях, они кажутся пустяками, поскольку существует полное и всеобъемлющее сотрудничество, будь то португальская полиция, шведская или любая другая. Я говорю об этом потому, что полиция — это Гоббс, а вовсе не Кант. Пожалуй, это один из самых важных элементов, о которых следует помнить. Вы добавляете название страны к своему имени, когда представляетесь, и это кажется естественным. Для меня было огромным счастьем посвятить часть своей жизни этому созиданию, этому единству. Но в то же время я осознаю, насколько все это хрупко и насколько опасно близко можно подойти к своего рода окончанию этого уникального исторического периода.

Современные вызовы европейскому идеалу

В современном мире Европу воспринимают как нечто не очень могущественное: «Это прекрасный идеал, но как она выглядит на фоне России? Как она может противостоять Китаю?» Опаснее всего то, что Европа чувствует себя довольно одинокой по отношению к новой Америке. Это тот фактор, из-за которого Европа сталкивается с угрозами прямо у своего порога, и речь идет не только о России и об Украине в этот переломный момент европейского развития, но даже о Турции. До прошлого месяца в нашей среде находился предатель, и имя этому предателю — Венгрия. Внутри европейского пространства уже появились люди, отстаивающие взгляды, прямо противоположные тем ценностям, которые я попытаюсь рассмотреть, перечислив принципы «никогда больше».

*Опаснее всего то,
что Европа чувствует
себя довольно одинокой
по отношению к новой
Америке*

Как нам жить в мире, где на одном полюсе находится «никогда больше» как прекрасный идеал, а на другом — «никогда больше с нами» как эгоистичное воплощение национальных интересов, которое никак нельзя назвать благородным? Прежде чем перейти к объяснениям, я хочу упомянуть свою статью на эту тему, появившуюся в контексте реакции Европейского союза на войну в Газе 2008 года. Моя статья была опубликована в 2010 году и с тех пор активно распространяется, но практически никто не замечает, что написана она 15 лет назад. Следовательно, то, о чем я собираюсь говорить — о двух типах концепции «никогда больше», — уходит корнями глубже, чем многие полагают, и было четко сформулировано еще тогда, 15 лет назад.

Восемь столпов универсального «никогда больше»

Так что же такое это «никогда больше»? Когда оно родилось? Оно возникло сразу после Второй мировой войны. Но тогда оно было попыткой этого ужасающе разрушенного континента сказать «никогда больше» двум вещам: «никогда больше» войне и «никогда больше» геноциду после Холокоста.

Это «никогда больше» было настолько очевидным, что его не требовалось детально прописывать нигде, кроме коридоров власти и институциональных контекстов, — в массовом общественном сознании

В процессе создания общества нет иного первоэлемента выше или ниже гражданина

и так было ясно, что это «никогда больше» относится к войне, а осознание геноцида пришло позже. Однако по-настоящему самостоятельную жизнь этот принцип обрел после падения Берлинской стены, когда Европа развернулась лицом к Восточной Европе и бывшему Советскому Союзу.

Обнаружилась несовместимость между тем, что коммунистический мир совершил в Советском Союзе, и европейскими принципами, которые в этом новом контексте, по сути, пришлось переосмыслить.

Концепция «никогда больше» включает в себя восемь пунктов, которые я перечислю:

1. Никогда больше войне как политическому средству. Исходя из этого, можно представить, насколько глубокий шок испытала Европа в связи с российским вторжением в Украину. Тут можно возразить: подождите, но почему Европа была так потрясена? Ведь до этого, в 1991 и 1992 годах, полыхали Балканские войны. Однако тогда Югославия распадалась сама по себе, и, хотя Европа находилась совсем рядом, у нее еще не было целостного понимания происходящего. И в этом заключалась главная ошибка. Тем не менее Европа не была виновата в том, что Югославия взорвалась изнутри.

2. Никогда больше этническому или религиозному определению национальной принадлежности. Подобные идеи и институты были и остаются табуированными. И это одна из причин, по которой многие другие страны смотрят на Европу как на рыхлый конгломерат, слабый и неспособный справиться с такими явлениями, как мусульманский экстремизм и прочие кризисы идентичности.

3. Никогда больше превосходству коллективных национальных прав над индивидуальными правами человека. Я излагаю философские принципы, применение которых, разумеется, всегда влечет за собой сложные последствия, но эти принципы являются абсолютно незыблемыми для Европейского союза в его истинном понимании, в рамках его представлений о своем идеале.

4. Никогда больше религиозным или этническим чисткам. Никогда больше расовому/этническому законодательству. Иными словами, никогда больше правовой системе, основанной на этнических правах и превосходстве над кем-то другим или над иной группой. Не может существовать закон или правовая система, определяемая через этническую идентичность.

5. Гражданин — это верховный актор. В процессе создания общества нет иного первоэлемента выше или ниже гражданина. Гражданин — высший субъект действия. Для тех, кто постоянно проживает в стране, обязательно должен существовать путь к обретению гражданства.

6. Отсутствие герметичных национальных границ, наднациональность как идеал.

7. Историческое примирение. Как следствие этой наднациональности или предшествуя ей, звучит финальный пункт: историческое примирение, символом которого после войны стал франко-германский союз. Здесь возможны размолвки, но это тот брак, который партнеры отчаянно пытаются сохранить, даже если не всегда ладят друг с другом. Тем не менее именно он служит матрицей того, чем должно быть европейское сообщество. Его суть должна заключаться в примирении. Поэтому, когда на арену вышла Польша, возник треугольник франко-германо-польского примирения. Затем появились элементы попыток примирения поляков с украинцами. Скандинавские страны к тому времени уже урегулировали это между собой. Таким образом, понятие примирения остается в силе и играет важнейшую роль в контексте принципов «никогда больше».

8. Концепция «никогда больше с нами» (на примере Израиля)

Теперь давайте перейдем к 8-му пункту, к концепции «никогда больше с нами». Я обратилась к этой теме и взяла в качестве примера Израиль, чтобы показать, что с исторической точки зрения существуют и иные варианты обоснования совершенно другого типа «никогда больше». После Холокоста для еврейского народа, стремившегося создать государство Израиль, существовало одно фундаментальное «никогда больше»: «Никогда больше мы не позволим кому-либо другому определять нашу коллективную судьбу». Для создателей Израиля доказательства невозможности спасения были очевидны по всей Европе. Государства либо сотрудничали с нацистами, либо ничего не делали для спасения своих евреев, либо позволяли увозить и уничтожать евреев в других местах. Нагляднее всего это проявилось в 1938 году в Эвиане, когда ничего не было предпринято в ответ на то, что Гитлер творил с немецкими евреями.

Как следствие, главный урок для еврейского народа заключается в том, чтобы никогда и никому не перепоручать ответственность за свою

судьбу. Это прямая, абсолютная противоположность отказу от войны как политического средства, противоположность идее мира и доверию к международным институтам. Я рассматриваю это специфическое «никогда больше» на примере Израиля, однако концепция «никогда больше с нами» сегодня широко распространена по всему миру. Таким образом, принцип «никогда не позволяй кому-то другому определять твою коллективную судьбу» идет под номером один.

Второй пункт: государство обязано защищать коллективные права своего народа. В данном случае для Израиля того времени — еврейского народа.

Третий пункт: государство определяется через этническую идентичность.

Четвертый пункт: относительное равенство всех граждан. Не абсолютное равенство. Некоторые граждане, в силу своей принадлежности к государствообразующему этносу, наделены бóльшим объемом прав и ценностей, чем те, кто этнически к этому государству не принадлежит.

*Великая европейская мечта
о прочном мире сейчас
подвергается жестоким
ударам, особенно в свете
действий России*

Пятый пункт: полное отсутствие наднациональности в политических или судебных институтах. Если Европа строилась на принципах верховенства права, Международного суда по правам человека и самой идеи наднациональности, то любой приверженец лозунга «никогда

больше с нами» скажет абсолютное «нет» любому проявлению наднационального контроля. Коллективные права противопоставляются индивидуальным правам человека, при этом не существует обязательного пути к гражданству для тех, кто не принадлежит к коренному населению данной страны, а частичное гражданство не тождественно полному.

И наконец, примирение не является самоценностью. Вокруг есть другие субъекты. Вы можете проявлять к ним терпимость, взаимодействовать, торговать, но вы не станете мириться с ними во имя каких-то высших ценностей. Таковы эти две категории, два противоположных блока.

Столкновение двух систем в современном мире

Что все это означает сегодня? Насколько хрупким оказалось европейское «никогда больше»? Насколько сильной стала позиция «никогда больше с нами»? Можно ли их примирить? Очевидно, что великая европейская мечта о прочном мире, вечно развивающемся в рамках великого кантианского идеала, сейчас подвергается жестоким ударам, особенно в свете действий России. Ее подрывают и другие страхи — будь то избыточная иммиграция или угроза исламского фундаментализма. Сейчас удары наносят даже те две страны, которые, не являясь частью европейской системы ценностей, традиционно воспринимались как ее

ближайшие родственники. Этими двумя странами оказались, с одной стороны, Израиль, которого считали родственником, волею судеб живущим в очень неблагополучном районе чуть дальше по улице, а с другой стороны, Соединенные Штаты Америки. Никакой наднациональности, никакого стремления к примирению.

Когда-то Канада была любимым близким родственником, а Мексика находилась по соседству, но не представляла угрозы. Поэтому они оставались в стороне, не участвовали в кошмаре Второй мировой войны, выступая в роли актеров второго плана, и само собой подразумевалось, что американские и европейские ценности совместимы и должны быть совместимыми. В конце концов, по отношению к Франции они были республиками-сестрами еще со времен XVIII века. Теперь все изменилось, мы переживаем глубокий перелом.

Таковы примеры новых глобальных тенденций, к которым можно добавить новых акторов, никогда не входивших в этот западный пакт, мир или систему «никогда больше». У них нет чувства вины за прошлые деяния, как нет и интереса к чужой истории, кроме своей собственной. Их лозунг — «никогда больше с нами», и сюда можно отнести Китай, Индию, Бразилию и большинство стран из числа тех, что раньше именовались третьим миром. Они не имеют никакого отношения к этому соглашению. В них может существовать демократия, но у них нет всего этого здания целиком.

При оптимистичном сценарии мы бы увидели, как Израиль сохраняет связи или даже реинтегрируется в Европу. Однако последние годы продемонстрировали, насколько глубоко Европа и Израиль расходятся в понимании базовых принципов и в оценке событий на Ближнем Востоке. Так что подобный позитивный сценарий для Израиля, при котором его специфическое «никогда больше с нами» встроилось бы в рамки всеобщего «никогда больше», в настоящее время маловероятен.

Пессимистичный же сценарий заключается в том, что Европа откажется от своего универсального «никогда больше» и превратится в некое подобие колосса, руководствующегося принципом «никогда больше с нами». Где под словом «нами» будут подразумеваться, скажем, 27 стран (или 27 с половиной, если считать поддерживаемую Украину, а может быть, 28 и еще одна, если продвинуться к Грузии и далее, к тем государствам, которые стремятся стать демократиями, но пока не входят в Евросоюз). Можно констатировать, что Европа, вынужденная думать о войне и испытывающая страх перед иммиграцией и терроризмом, способна вновь замкнуться в себе или повернуться спиной к прежнему идеалу «никогда больше», составлявшему ее суть.

Рост правого популизма и угроза будущему

Когда мы думаем о приходе к власти крайне правых — будь то в Великобритании, которая уже сделала шаг в сторону, совершив Брекзит, или во Франции, или в случае с АдГ в Германии, — мы ведем речь о партиях, которые абсолютно несовместимы с официальными принципами «никогда больше», которые я только что перечислила. Люди не осознают, в какой степени это приводит к власти новые силы — группы, партии, элиты и контрэлиты, не имеющие ничего общего с этими принципами.

Существует множество причин, побуждающих избирателей голосовать за эти партии, и здесь не имеет значения, сколько глянца наводится на их фасад, какую маску они надевают, какими добрыми хотят казаться, насколько они приспособлены к формату «ТикТока» (что представляет одну из скрытых угроз) или как активно представлены в «Фейсбуке». Эти крайне правые движения в Европе являются прямой антитезой принципу «никогда больше».

Теперь, если мы обратимся к концепции «никогда больше», давайте посмотрим на три страны: Америку, Израиль и Турцию. Практически в каждой из них крайне правых совершенно не волнует верховенство права и наследие едва ли не двух веков развития (если оставить в стороне наднациональные амбиции США), поскольку американское «сделаем Америку снова великой» — это, по сути, лозунг «никогда больше с нами», независимо от того, как именно президент Трамп формулирует

свою повестку дня в тот или иной момент. Это позиция в стиле: «Мы никогда больше не станем терпеть эту неприятную, слабую, нелепую Европу, которая сосет наши деньги, ничего не давая взамен. Никог-

*Прямо сейчас суд США
медленно демонтирует
некоторые из фундаментальных
правовых основ*

да больше мы не примем универсальные права. Никогда больше (и в этом кроется тайный умысел) мы не согласимся с тем, что гражданство должно быть открыто практически для любого по праву рождения или по прибытии».

Я говорю об этом с чувством глубочайшей печали. Прямо сейчас при поддержке политиков Верховный суд США медленно демонтирует некоторые из фундаментальных правовых основ, благодаря которым Америка, пусть и спустя столетие, наконец начала преодолевать тяжелое наследие рабства. Следовательно, речь идет не просто о том, что сейчас у власти республиканцы, а завтра их сменят демократы. Это моменты, когда на кону стоит сама суть государства.

Что касается Израйля, то находящиеся у власти крайне правые силы имеют мало общего с тем изначальным принципом «никогда больше с нами», который родился из трагедии Холокоста. В сегодняшней израильской власти присутствует отчетливый элемент идеологии «крови и

почвы» (Blut und Boden), который по самой своей сути абсолютно несовместим с общими европейскими демократическими ценностями. И похожая несовместимость относится и к Турции.

Единственный слабый луч света — хотя он лишь подчеркивает всю сложность ситуации — это Венгрия. Венгрия изменила свою позицию и выразила желание вернуться в лоно европейской семьи. Ее никогда не исключали, поскольку риск такого шага в условиях близости России виделся слишком суровым и опасным, поэтому ее сохраняли в составе сообщества. Тем не менее ни для кого не секрет, что на каждой встрече лидеров или министров стран Евросоюза за столом переговоров замалчивались определенные темы, стоило там появиться представителям Венгрии, поскольку все понимали, что они играют роль троянского коня. Но, вступая на путь авторитарных режимов, восстановить прежнее устои бывает крайне непросто. Потребуется колоссальная работа со стороны господина Мадыара. Да и в Польше этот процесс возвращения к былым гарантиям верховенства права, государства и демократии еще далек от завершения, поскольку суды и государственные структуры были практически разрушены крайне правыми силами за последние без малого 10 лет польской истории.

Мои прогнозы звучат не слишком оптимистично, и мне очень жаль. Мы переживаем поистине переломный момент, когда уроки гражданственности, демократии и истории оказались чрезвычайно слабыми для целых поколений недостаточно просвещенных людей, живущих в атмосфере засилья фейковых новостей и дезориентации.

Необходимо сохранять верность этим принципам «никогда больше», глубоко понимать их и в буквальном смысле за них сражаться, даже если в частностях можно что-то скорректировать. Разумеется, суверенные государства вправе иметь собственное законодательство, регулирующие правила приема иммигрантов и методы борьбы с нелегальной миграцией. Они имеют право сохранять и оберегать ту идентичность, которую считают для себя важной. Им позволено постоянно переосмысливать собственное прошлое. Ничто из этого не подлежит сомнению, однако мы живем в интегрированном и взаимосвязанном мире. И я лишь надеюсь, что мы сможем сохранить не просто слабый отблеск кантианского наследия, созвучного вашему девизу «Sapere aude!», чтобы с его помощью одолеть или хотя бы стойко противостоять давлению все более опасного гоббсовского мира.



*Михаил Минаков,
доктор философских
наук*

Из крестьян в големы

В легенде о пражском Големе есть знаменитый момент: рабби Лев, слепивший человека из речной глины и ожививший его словом, вложенным в уста и начертанным на лбу, видит, как созданное им существо поднимается и начинает действовать, выполнять приказы. Голем может носить воду и охранять гетто, он верный и всегда под рукой. Чего он не может — так это что-либо делать по собственной инициативе. Он обрел человеческую форму, но не человеческую свободу. Чтобы действовать, ему нужны указания. И во всех версиях этой истории указания рано или поздно дают сбой: созданное существо выходит из-под контроля, начинает крушить все вокруг, и его приходится уничтожить, стерев одну-единственную букву на его челе.

Обычно мы воспринимаем эту историю как притчу о постчеловеческих технологиях, угрожающих подчинить себе своих создателей. Я же хочу предложить иное прочтение: постчеловек — это тип человеческого существа, которое наша цивилизация уже произвела сотни миллионов раз и продолжает производить до сих пор.

Мы привыкли к определенному рассказу о постчеловеке. Он звучит примерно так. На протяжении всей истории человек существовал как некая данность: его рождали, а не создавали; он входил в мир как нечто заранее не спроектированное. Потом появилось редактирование генома, нейроимпланты, гаджеты, алгоритмы, угадывающие наши желания раньше нас самих, — и вдруг рожденный человек стал редактируемым, черновиком, подлежащим исправлению. В таком изложении постчеловек — это совершенно новое состояние вида, который наконец получил доступ к собственному исходному коду.

Это страшная и любопытная история. И почти все в ней неверно датировано. Постчеловеческое относится не к завтрашнему дню, а ко вчерашнему.



Сунь Юань и Пэн Юй (Sun Yuan & Peng Yu). Собаки, которые не могут коснуться друг друга. 2003

Насилие, которое не ломает, а формирует

Начнем со слова, которое, как нам кажется, мы понимаем, — насилие. Спросите любого, что оно означает, и вам расскажут об ударе, ране, разбитом окне или поврежденном теле. Весь наш нравственный словарь предполагает, что насилие совершается над уже существующим «я»: кулак врезается в лицо, право попирается, целостность нарушается. Даже более тонкие понятия, унаследованные от прошлого столетия, сохраняют ту же форму. Структурное насилие вредит людям, которых социальные порядки оставляют без внимания. Символическое насилие, согласно Бурдьё, действует потому, что его ошибочно принимают за естественный порядок вещей, но и оно предполагает субъекта, уже стоящего перед ним, — того, кого можно обмануть.

Чего все эти понятия почти не называют — так это то насилие, которое предшествует самому «я». Не силу, которая ударяет вас, а процесс, который производит или формирует определенную личность и закрывает путь другим версиям этого индивида, какими он мог бы стать. Назовем это формирующим насилием. Оно не разрушает самость, а формирует, изготавливает ее.

Постчеловек – это новое состояние вида, который наконец получил доступ к собственному исходному коду

Эта мысль не так экзотична, как может показаться. Ницше имел это в виду, когда спрашивал, как природа создала животное, способное обещать, и отвечал: через память, выжженную болью, через долгую терпеливую жестокость, которую мы вежливо называем моралью. Фуко утверждал, что дисциплина не просто сдерживает тела, но производит

*Человек — животное,
выдрессированное
в существование*

их: в пределе она изготавливает именно то, что мы называем душой. В этой перспективе человек — животное, выдрессированное в существование. Все мы являемся результатом формирований, которые мы не выбирали.

Но здесь нужна оговорка, без которой вся идея расплывется в неопределенности. Не всякое формирование есть насилие. Ребенка формируют родной язык, колыбельная, молитва, ритуалы его родного края, и такое формирование не является атакой на его свободу. Оно есть среда, в которой свобода вообще становится возможной. Невозможно быть свободным в абстракции. Свободным становятся в какой-то языковой среде, в своем углу, в своей семье. А формирующее насилие обозначает куда более мрачный случай: когда формирование подавляет самость именно на том уровне, где она учится говорить «я», «да» и «нет». Когда возвращение человека перестает быть самовращиванием и становится выращиванием одних людей другими, по чужому проекту, автором которого выращиваемый никогда не был.

Что именно подавляется

Чтобы понять, что разрушает такое формирующее насилие, нужно прежде увидеть, на что оно направлено.

Ханна Арендт подарила нам нужное понятие: натальность. Быть рожденным — значит быть началом, вносить в мир то, чего раньше не существовало и что не могло быть предсказано предшествующим. В этом корень человеческой свободы. Поскольку каждый из нас является подлинным новым началом, история никогда не сводится к разворачиванию плана: кто-то всегда может ее остановить, заменить, перенаправить. Рожденный человек — не экземпляр какого-то типа. Он — исток. Его достоинство состоит в неповторимости.

И этот исток не абстрактен. Он приходит в мир, обернутый в частности: собственное имя, данное еще до того, как он мог с ним согласиться, но из которого потом вырастет вся его способность соглашаться. Первый язык, усвоенный не как грамматика, а как ткань самых ранних близостей. Место, память, горсть унаследованных обрядов, помещающих человека в мир, который больше любого проекта. Вспомним два древнейших способа человеческого возвращения. Колыбельную, в которой к младенцу обращаются прежде, чем он сможет ответить, и тем самым устанавливают его как того, к кому обращена речь. И молитву, в которой «я» обращается к тому, что превосходит всякую земную власть, и

тем самым обретает дистанцию по отношению к ней. Это не украшения самости, а ее строительные леса.

И теперь можно точно сказать, что делает формирующее насилие. Прежде всего оно не ломает кости и не попирает право, хотя часто делает и то и другое по пути. Оно подавляет натальность, заменяя единственное в своем роде начало типом, отштампованным по плану. Оно захватывает саму структуру обращения, подменяя колыбельное «ты» на «ты» социально сконструированного коллектива: представитель народа, единица нации, винтик механизма. И оно проникает в сами конституирующие идиомы: учит ребенка стыдиться языка, на котором ему пела мать, и помнить прошлое не в качестве наследника родных мертвых, а в качестве члена спроецированного коллектива.

*Нельзя дать согласие
на процесс, который
делает вас существом,
способным давать
согласие*

Именно поэтому проблема согласия здесь достигает головокружительной глубины. Нельзя дать согласие на процесс, который делает вас существом, способным давать согласие. К тому моменту, когда появляется «ты», которое можно спросить, само спрашивание уже имеет отштампованный ответ.

Видеть как нация

Где исторически подобное было проделано? В промышленных масштабах там, где нас учили нацию считать самой естественной общностью из всех, — в нациетворчестве.

Джеймс К. Скотт, исследуя, почему великие схемы улучшения человеческого состояния так часто заканчиваются катастрофой, заметил: современное государство не может управлять тем, чего не видит. Чтобы облагать налогами, призывать в армию и надзирать, оно должно сначала сделать население читаемым с помощью переписей, стандартизированных мер, постоянных фамилий и прежде всего посредством единого официального языка, преподаваемого в обязательных школах лингвистическими бюрократами. Скотт имел в виду теорию администрирования. Но взгляните еще раз на его перечень инструментов. Фамилия, перепись, стандартизированный язык — это не только орудия сборщика налогов. Это инструменты нациестроительства, то есть самого первого постчеловеческого инжиниринга.

Здесь историки национализма подтверждают мою гипотезу. Нация, как они давно утверждают, не обнаруживается, а создается. Бенедикт Андерсон называл ее воображаемым сообществом, вызванным к жизни газетой и романом. Эрнест Геллнер сформулировал жестче: национализм не пробуждает «спящие» нации, а изобретает нации там, где их не было; его двигатель — школа и армия. Юджин Вебер озаглавил свое великое исследование сельской Франции «Из крестьян во французы», дав

едва ли не самую точную формулу постчеловеческого формирующего насилия. Крестьянин, говоривший на региональном патуа и не бывший особо преданным геронтократам в Париже, за несколько десятилетий школьных классов и воинской повинности был превращен во француза. Что-то было дано; что-то другое — отнято.

А отнято было не одно из множества возможных отождествлений. Была отнята сама множественность форм жизни рожденного человека.

Политическая форма Единого

Рожденный человек укоренен сразу во многих пространствах: в семье, крае, ремесле, вере, наречии и особой карте родных могил. Его единичность не принадлежит ни к одному из этих корней; она возникает из живого напряжения между ними. Оборвите все корни, кроме одного, объявите только его реальным и законным, и вы совершите операцию с древней и весьма показательной структурой. Это структура монотеизации: жест, посредством которого многобожный пантеон сворачивается

в суверенного Единого, а боги и духи переименовываются в идолов и бесов.

Самая верная мера того, насколько полно Единое заменило множество, — готовность, с которой оно просит крови

Национализм и есть политическая форма именно этого жеста. Диалект становится идолом, который должен быть разбит стандартным языком. Местная память органического сообщества превращается в суеверие,

подлежащее исправлению национальной историей. Множественные пересекающиеся лояльности реальной человеческой жизни объявляются беспорядком, который нужно разрешить, направив в канал одной исключительной лояльности нацию — единственную силу, наделяющую человека полным гражданством и реальностью. Вот почему те, кто проходит через горнило национализации, так часто описывают случившееся не как политику, а как рану души. Конфискуется сама множественность, благодаря которой они были единичной самостью.

И изготовленное Единое, будучи конструкцией, а не живой множественностью, обладает аппетитом, которого старые формы множественной принадлежности не знали: ему нужна смерть подчиненных, чтобы доказать свою реальность. Призывника учат, что его жизнь принадлежит нации. Военный мемориал превращает павших в бессмертное тело народа. Нация, подобно бессмертной части короля у Канторовича, притязает на политическое тело, переживающее каждого смертного, из которого оно состоит, и может требовать, чтобы смертные умирали ради его жизни. Самая верная мера того, насколько полно Единое заменило множество, — это готовность, с которой оно просит крови.

Первый, невыдуманный Голем

Теперь фигура Голема становится ясной, и это уже не метафора. Это описание реальности, в которой мы живем.

Голем сформирован, а не рожден. Он оживлен формулой, автор которой находится вне его: словом во рту и буквой на челе национального будителя. У него есть форма самости, но он не может быть началом: «я», которое он произносит, написано за него. Он связан волей своего создателя, и все всегда заканчивается катастрофой сформированного существа, превысившего собственный проект.

Сконструированный гражданин современной нации является Големом именно в этом смысле: он вылеплен из глины рожденных людей, оживлен вписанной формулой стандартизированного языка и отредактированной истории, снабжен изготовленным единством вместо живой множественности. Самый ясный случай

*Рожденный человек
перерабатывается в вид,
служащий проекту, автором
которого он не был*

подарен нам одним из будителей в записках, в которых он сам записал свои намерения. Как и многие другие проекты социальной инженерии последних двух столетий, итальянский фашизм ставил перед собой задачу, по словам Бенито Муссолини, сделать итальянцев «духовно и физически неузнаваемыми», изготовить нового человека, очищенного от того итальянца, которого в действительности произвели судьба и история (Dagnino). Молодежные отряды, массовые литургии, культ закаленного тела — все это было явной антропотехникой, тренировочным режимом для производства человеческого типа. Якобинцы, подавлявшие патуа; американские/британские/канадские/российские интернаты, растворявшие детей коренных народов в национальной форме, вырывая их из дома, где звучала колыбельная; депортации, сортировавшие людей по «правильным» национальным контейнерам, — все они выполняли одну и ту же операцию, различаясь степенью откровенности и жестокости, но не по существу.

Первый постчеловек вышел не из технологической лаборатории. Он вышел из фихтеанской школьной аудитории 1808 года, прошел строем через наполеоновскую казарму и был занесен в перепись, напоминающую административный Страшный суд. Определяющий жест постчеловеческого — обращение с человеком как с материалом для проектирования и доработки, а не как с данностью, достойной уважения, — был совершен в континентальном масштабе за целое столетие до того, как кто-либо научился редактировать геном.

А значит, наши представления о постчеловеке дважды неверны. Они ошибаются во времени, помещая технологическое настоящее или скорое будущее в практику, столь же старую, как политическая модерность. И они ошибаются в регистре, принимая проблему технологии за то, что в своей основе является проблемой государства, организованной

и продуманной антропотехникой сконструированной коллективности. Редактор генома и предписывающий алгоритм — не первые инструменты изготовления человека. Они лишь самые новые. Их предки — учебник грамматики и призывной список. Под всеми меняющимися инструментами лежит одна и та же инвариантная операция: рожденный человек становится читаемым и перерабатывается в вид, служащий проекту, автором которого он не был.

Если это так, то никакая чисто технологическая бдительность нас не защитит, потому что опасность никогда не была по существу технологической. Она требует другого ответа: политики натальности — политики, которая уважает человека как существо рожденное, а не сделанное, приходящее в мир как единичное начало и множественная принадлежность и обладающее достоинством истока, который ни один проект не вправе конфисковать.

Голем, сформированный человек, был оживлен словом, которого он не произносил, и связан волей, которая ему не принадлежала. Рожденному человеку тоже дается имя, язык, молитва и колыбельная, которых он не выбирал, но с ними он становится автором собственного «я», собственного «да» и собственного «нет». Проблема беспощадно наступающего столетия заключена в узком промежутке между этими двумя фигурами. Назвать различия между ними и отказаться от насилия, превращающего первую фигуру во вторую, возможно, самая важная биополитическая задача, стоящая перед нами. Мы создаем големов уже двести лет. Ново лишь то, что у нас это получается все лучше и лучше.

Библиография

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / Пер. В. Николаева. М.: Кучково поле, 2016.
- Арендт Х. *Vita activa*, или О деятельной жизни / Пер. В. В. Библихина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
- Бурдьё П. Мужское господство / Пер. Ю. В. Марковой // Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетей; М.: Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 286–364.
- Геллнер Э. Нации и национализм / Пер. Т. В. Бердиковой. М.: Прогресс, 1991.
- Ницше Ф. К генеалогии морали // Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 5 / Пер. Н. Н. Полилова, К. А. Свасьяна. М.: Культурная революция, 2012.
- Скотт Дж. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой. М.: Университетская книга, 2005.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. В. Наумова. М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж», 2023.
- Dagnino J. The myth of the new man in Italian Fascist ideology // *Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies*. 2016. No. 5 (2). P. 130–148.
- Kantorowicz E. H. The king's two bodies: A study in medieval political theology. Princeton University Press, 1957.
- Weber E. Peasants into Frenchmen: The modernization of rural France, 1870–1914. Stanford University Press, 1976.

Об эволюции правосознания

Отзыв на статью Г. Куйдина «Об эволюции правосознания»*

Предлагаемая автором тема для дискуссии, безусловно, достойна внимания. Хотя недостатка в текстах на тему «Почему все пошло (идет) не так?» не наблюдается, попытка связать разговор о правосознании с сословностью общества вызывает интерес. Российское государство действительно слишком часто обращается с правами как с разрешениями: сегодня тебе позволено, завтра — нет; сегодня ты свой, завтра — почти враг, а послезавтра — враг. В этом смысле разговор о сословности, о привычке мыслить статусами, допусками и милостями сверху мне кажется бесполезным.

Тем не менее мне как правоведа текст Куйдина представляется малоубедительным. Прежде всего потому, что он посвящен не правосознанию. Автор пишет главным образом об отношении к собственности и распределению материальных благ и совсем немного — о личных свободах. Это важная, но далеко не исчерпывающая составляющая правосознания. Автор не обращается и не апеллирует к правовым категориям, кроме не вполне ясно понимаемых «универсальных прав человека».

1. Рассуждения автора о сословности общества и медленном восприятии универсального правопонимания российским обществом («эволюции») выглядят упрощенными. Текст слишком легко превращает сложную и болезненную историю последних десятилетий в историю «неправильного» правосознания, следуя скорее распространенным демофобским стереотипам.

Как будто общество просто не поняло, что чужие «привилегии» на самом деле могли бы стать его будущими правами. Как будто проблема была в зависти, архаике, неспособности мыслить универсально. Мне это кажется слишком удобным объяснением. 1990-е годы все-таки были не учебным курсом по универсальным ценностям, который население плохо прослушало. Это был очень жесткий социальный опыт. Для огромного числа людей он означал потерю безопасности, статуса, работы, социальных гарантий и вообще ощущения, что жизнь хоть немного предсказуема. Кроме того, от интеллектуального класса население вместо критической рефлексии получало менторские, назидательные рассуждения о «неправильном народе». На этом фоне «новая» собственность не могла восприниматься как чистое торжество универсального права. Она слишком часто выглядела как результат неравенства, связанного с близостью к власти, доступом к информации, административными ресурсами и общей слабостью институтов.

* Куйдин Г. Об эволюции правосознания // Общая тетрадь. Вестник Школы гражданского просвещения. 2026. № 2 (101). С. 56–66.

2. Мне трудно согласиться с мыслью, что недоверие к собственности 1990-х было просто пережитком сословного сознания. В этом недоверии было много рационального. Люди видели не абстракции, а очень конкретную постсоветскую реальность, где одни внезапно получали крупные предприятия, а другие пытались просто выжить. Автор очень

1990-е годы были не учебным курсом по универсальным ценностям, который население плохо прослушало

быстро сбивается на риторику защиты «невинности» 1990-х и всех тех явлений, которые находятся в прямой причинной связи с путинским режимом.

3. Мне представляется манипулятивным ход с фермером, коровой и малым предпринимателем. Конечно, право собственности надо защищать. Конечно, киоск, мастерская, фермерское хозяйство — не олигархическая империя. Но почему именно они должны символически прикрывать приватизацию крупных активов и социальный дарвинизм 1990-х? Почему право человека на элементарную экономическую автономию должно автоматически легитимировать весь постсоветский имущественный порядок? Это разные вещи, а текст их слишком очевидно отождествляет.

4. Еще одной проблемой является постоянное использование искаженных аргументов (straw man — «соломенное чучело»). Автор все время будто бы спорит с человеком или даже обществом, которые хотят просто все отнять, разрушить и уравнивать всех в бедности. Но крити-

Критика института собственности не обязательно означает желание отобрать последнюю корову у фермера

ка привилегий не обязательно означает негацию прав. И критика института собственности не обязательно означает желание отобрать последнюю корову у фермера. Можно защищать право собственности как гарантию личной свободы и одновременно спрашивать, откуда

взялась крупная собственность, на каких условиях она была получена, кто заплатил за это и какую цену и почему общество должно считать ее священной.

5. Не всякая привилегия является зародышем будущего права. Некоторые привилегии именно поэтому и вызывают возражения, что их нельзя и не нужно универсализировать. Нельзя всем дать доступ к административной ренте, монопольному положению, политически защищенному капиталу или собственности, возникшей в результате близости к государству. Тут вопрос не в том, как сделать такую возможность общей для всех. Вопрос в том, почему она вообще возникла.

6. В статье приводится неубедительное и не обоснованное фактами объяснение прихода Путина к власти. Говорится, что Путин «победил» «либералов» почти на волне антипривилегированного популизма: общество, мол, хотело, чтобы у кого-нибудь что-нибудь отобрали, и он дал ему эту иллюзию через «равноудаление» олигархов. Это не так. Путин

не пришел к власти как левый популист. Он не предлагал ни социального равенства, ни демократизации собственности, ни реального контроля общества над элитами. Его «проект», если о нем вообще можно говорить, был другим: порядок, вертикаль, силовое государство, деполитизация. Конкретные обстоятельства прихода Путина к власти — проект «Преемник» — слишком хорошо известны. Так же как и поддержка этого проекта значительной частью «либералов», видевших в нем довольно популярного условного «русского Пиночета».

7. И в этом смысле путинский режим стал новой формой социального дарвинизма 1990-х. Более государственной, более силовой, более дисциплинированной. Просто она стала менее хаотичной и более зависимой от вертикали. Поэтому текст и создает странное ощущение.

Он оставляет без внимания «слона в комнате» — чудовищное имущественное неравенство. В современной России в руках 5% населения сосредоточено 75% богатств, эти цифры значительно превосходят американ-

*Путинский режим стал
новой формой социального
дарвинизма 1990-х*

ские (в США этот, также чудовищный показатель составляет 60%). Я бы не спорил с тем, что России нужен переход от логики милостей и привилегий просто к логике. Но мне кажется, что этот переход не может быть простым возвращением к языку либеральных фундаменталистов 1990-х, как будто проблема была лишь в том, что его плохо объяснили. Этот язык сам нуждается в пересмотре. Права без социальной почвы слишком легко становятся языком тех, кто уже достаточно защищен, чтобы ими пользоваться.

8. Мне также представляется, что подобный текст нуждается всылочном аппарате (данные социологических исследований, работы по философии и социологии права, сопоставление с данными по другим странам и т.п.).

Глеб Богуш

Об истории отравленных российских умов*

Андрей Колесников представил интеллектуально впечатляющий и весьма смелый анализ причин, по которым Россия превратилась в «страну без будущего». Известный независимый мыслитель, в конце 2022 года объявленный «иностранным агентом», Колесников тем не менее продолжает жить и писать «во чреве зверя».

Решение начать вторжение, пишет Колесников в книге «Закрытие русского разума» (The Closing of the Russian Mind: How Putin's Ideology Took the Nation Hostage), — это «признак человека, одержимого идеологией и находящегося в плену теорий заговора и идей об особой мессианской роли своего государства и нации». Он опровергает удивительно распространенную на Западе идею о том, что в этом реваншизме каким-то образом виновато исключительно НАТО.

«И этот взрыв империализма старого образца не был спровоцирован политикой Запада или расширением НАТО на восток, — пишет Колесников. — Корни проросли из глубины исторического и социокультурного сознания масс и элиты: из всего архаичного и еще не модернизированного в российском разуме».

Даже после того как Путин вторгся в Крым в 2014 году, многие думали, что его коррумпированный режим интересуют только деньги и что у «сказочно богатой элиты вообще нет никакой идеологии». Колесников

*Колесников выделяет
пять столпов путинского
государственного
патриотизма*

подробно показывает, насколько ошибочным оказалось это мнение, поскольку Путин перешел от управления авторитарным режимом, при котором людям нужно было просто молчать, к «неототалитарному» государству, в котором люди обязаны демонстрировать активное согласие.

В основе идеологии, подпирющей этот режим, по мнению Колесникова, лежит «идея империи». Подобно Сталину, единственная твердая валюта, в которую Путин действительно верит, — это территории, а его нынешняя провальная попытка «денацификации» и «демилитаризации» одной из таких территорий — это эквивалент более успешного сталинского «освобождения» Центральной Европы.

Колесников выделяет пять столпов путинского государственного патриотизма: Россия — великая держава, способная уничтожить своих врагов; Россия — страна с уникальной 1000-летней историей, на

* Cowley A. Stalin, Putin and the history of poisoned Russian minds // Financial Times. 6 May 2026. <https://www.ft.com/content/14c7a90c-fd2b-4442-aa6a-f148e7c02de9>



Бэнкси (Banksy). 2026

протяжении которой государство защищало свой народ от нападений со всех сторон; Россия — православная страна, обитель «Третьего Рима»; Россия должна гордиться своим прошлым, и ей нечего стыдиться, даже сталинских репрессий; мы сильны, когда едины. Кто не с нами — тот предатель, иностранный агент, нацист.

Эта книга слишком серьезна, чтобы тратить время на споры о том, где сегодня засели настоящие нацисты — в Москве или в Киеве. Хотя мимоходом Колесников все же задается вопросом: не наблюдаем ли мы сейчас, как власть безжалостно принуждает к единомыслию — эдакий «гляйхшальтунг» по-русски? Автор не сдерживается, описывая, как на-

*Злоупотребление историей
сыграло решающую роль
в сужении горизонтов
российского сознания*

саждение этой идеологии демодернизирует российское общество. Поразительно, как быстро модернизированное и урбанизированное общество может деградировать, «особенно в моральном и психологическом плане», пишет Колесников.

Страна, по его словам, «оказалась отброшена назад не на 40 лет» (время брежневского застоя), «а на 70 или даже 75 лет — в эпоху начала холодной войны, борьбы с “космополитами” <...> и новой волны репрессий».

Использование и злоупотребление историей сыграло решающую роль в сужении горизонтов российского сознания. Путин понимает: если правительство контролирует прошлое, оно контролирует людей, а также их настоящее и будущее. Для него 1000-летняя история важнее экономического успеха, поэтому его первым шагом после вступления в должность на пятый срок в 2024 году стало подписание Указа «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Эндрю Коули,
бывший глава московского бюро The Economist

Контрапункт

Власть и мораль

Один мой знакомый недавно признался, что устал читать книги моралистов о выживших из ума правителях. О безумцах у власти должны писать доктора с профильными дипломами, считает он. В наше время нет ничего аморального в том, чтобы сойти с ума. Безумие уже двести лет является медицинским сюжетом. Сойти с ума может кто угодно, включая самих моралистов. Если какой-то правитель — президент, шах, королева, раис и проч. — утратил связь с реальностью, то почему его/ее случай должен разбирать специалист по категорическому императиву, а не по шизофрении, например?

Очевидно, по мнению моего знакомого, у людей у власти по определению больше шансов лишиться рассудка. Каждый день к ним обращаются «ваше превосходительство», или «глубокоуважаемый», или «светлейший». Довольно часто их ошибки не критикуют как следовало бы. В медиа их регулярно сравнивают с известными персонажами, например с Наполеоном. Это и многое другое звучит как весомое приглашение к расставанию со здравым смыслом.

Проблема в том, что об этом чаще пишут те, кого интересуют лишь моральные оценки. По крайней мере, такое впечатление остается после прогулки по книжным магазинам. А хотелось бы послушать врачей. Затем мой знакомый перечислил известные ему случаи описания безумия во власти без морализаторства. Его первый пример из фильма «Хоббит». Ближе к финалу там временно сходит с ума король гномов. Второй пример: Кеннет Грэм и его повесть «Ветер в ивах». На протяжении всего повествования мистер Жаб, эксцентричный аристократ с поместьем, перманентно безумен, а остальные герои — Крот, Водяная Крыса и особенно Барсук — заняты его спасением.

В случае гнома и в случае аристократической жабы, утверждает мой знакомый, безумие случилось просто потому, что случилось — как простуда



Максим Горюнов,
философ

*У людей у власти
по определению больше
шансов лишиться
рассудка*

или как внезапная перемена погоды. Всего две книги, и обе для детей. Впрочем, подвел итог мой знакомый, книги для более зрелой аудитории обязательно должны где-нибудь быть. Безумие власть предрежащих — слишком важная тема, чтобы остаться незамеченной.

Мой недавний проект для Школы касался американских книг об Американской революции. Поэтому, слушая рассуждения своего знакомого, я сразу вспомнил про британского короля Георга III и его всемирно известное помешательство. Согласно архивам, во время обострений болезни король становился неестественно энергичным и разговорчивым, часто перескакивал с одной темы на другую, неожиданно перебивал собеседников, мог говорить не останавливаясь в течение многих часов подряд. Мог не спать по несколько суток, забывал о том, что произошло вчера и позавчера, был не в состоянии ухаживать за собой. Его способность концентрироваться исчезала настолько, что он не мог дослушать до конца даже самый короткий концерт. Эмоции менялись быстро и

*Золотым перьям Бостона
и Филадельфии было очевидно,
что король находится
на последних стадиях
морального разложения*

резко: от раздражения к умилению и от живого интереса к холодному равнодушию всего за пару мгновений. Помимо желания говорить, король охотно и много писал всем подряд: министрам, семье, близким. Одна и та же мысль в его письмах повторялась

по многу раз; слог становился все тяжеловеснее и сложнее для понимания, с большим количеством очевидно излишних — или бессмысленных — метафор и аллюзий. К этому добавлялись физические страдания. Регулярные боли в животе, иногда настолько острые, что король вынужден был спать сидя, поскольку не мог лежать. По ночам его часто мучили судороги в мышцах ног. В соответствии со стандартами психиатрии XVIII века король был изолирован от окружающих; его диета, сон и передвижения строго контролировались; в качестве лечения применялось связывание, смирительная рубашка, регулярные кровопускания и так называемые процедуры очищения.

Первые симптомы заболевания были зафиксированы уже после коронации. Самый долгий и самый острый период болезни имел место в конце 1780-х. Последние десять лет жизни Георг III подолгу оставался недееспособным. Он правил с 1760 по 1820 год. За это время Британия из малозначительной северной страны превратилась в империю с глобальными амбициями. Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многочисленные острова в Карибском море стали ее частью. Самым известным историческим событием, важную роль в котором сыграл Георг III, — появление на карте Соединенных Штатов как следствие того, что король последовательно поддерживал рост налогов в колониях, отказывался слушать возражения, грозил казнями. Как потом писали отцы-основатели Штатов, резкий и иногда оскорбительный тон короля

вынудил британских колонистов в Америке провозгласить независимость и обратиться к Франции и Испании за военной помощью. Мелодраматическая деталь: спустя пять дней после объявления независимости жители Нью-Йорка снесли конную статую Георга в центре города. Разбитые рабами куски переплавили в пули.

Существует довольно много версий о том, почему король вел себя именно так. Как нетрудно догадаться, ранние американские авторы были уверены, что причина королевской жестокости заключалась в личной безнравственности его величества. Георг был плохим христианином, писали в газетах по западную сторону Атлантики. Золотым перьям Бостона и Филадельфии было очевидно, что король находится на последних стадиях морального разложения. Отказ обсуждать с колонистами новые налоги — в особенности на чай — был убедительным тому свидетельством. Странности королевского поведения объяснялись соответствующим образом: аморальные люди не слушают своих собеседников и изъясняются длинными, никому непонятными предложениями.

В книге «Георг III и безумный бизнес»¹, написанной Идой Макалпайн и Ричардом Хантером, утверждается, что дело было совсем не в морали или аморальности. С точки зрения авторов, у короля была редкая болезнь. Он страдал от порфирии — наследственного метаболического заболевания. Аномалия метаболизма приводила к накоплению токсинов, которые провоцировали приступы мучительных болей в животе, слабость, раздражительность и бред. Временная утрата здравого ума является частым следствием этого заболевания.

Если Георг III страдал от наследственного заболевания, то схожие проблемы должны были быть и у его предков, и у потомков. Авторы подчеркивают, что отсутствие выраженных симптомов не исключает наследования заболевания. Порфирия может протекать бессимптомно или проявляться неспецифическими признаками. Свое исследование авторы начали с современных им представителей британской королевской семьи и выявили признаки порфирии у четырех. Эта находка стала аргументом для дальнейших поисков. Были изучены документы, касающиеся здоровья ближайших родственников короля. Сыновья Георга III — принц Август Фредерик, он же герцог Сассекский, и принц Эдуард, он же герцог Кентский, — также страдали от схожих недугов. Август Фредерик мучился от регулярных приступов болей в груди и животе, которые доводили его до крайнего физического истощения. Принц Эдуард часто жаловался на острые боли в животе и продолжительные периоды слабости. Авторы считают, что эти жалобы доказывают присутствие у принцев того же наследственного заболевания, что и у их отца. Сестра Георга III, Каролина Матильда, ставшая королевой

¹ Macalpine I., Hunter R. George III and the Mad Business. Allen Lane, The Penguin Press: London, 1969.



Франсуа-Огюст Биар (François-Auguste Biard). Безумие короля. 1883

Дании, умерла преждевременно. Традиционно ее смерть объясняли инфекцией или отравлением. Учитывая сходство описанных симптомов, Макалпайн и Хантер предлагают рассматривать ее смерть как результат острого приступа порфирии.

Родственные узы связывали «безумного короля» с Ганноверами, Тюдорами, Стюартами и с большинством европейских королевских семей. В разделе, посвященном Стюартам, авторы подробно разбирают записи о здоровье шотландской королевы Марии Стюарт. Ее повторяющиеся приступы сильной боли в абдоминальной области, частичная утрата

способности ходить, длительное пребывание в постели и внезапные быстрые выздоровления рассматриваются как возможные проявления порфирии. Через Софию Ганноверскую и ее дочь Софию Шарлотту авторы прослеживают возможную передачу болезни прусской династии. Они анализируют источники о жизни Фридриха Вильгельма I и его сына Фридриха Великого. О Фридрихе Вильгельме I остались воспоминания современников, в том числе и упоминания того, как во время приступов он терял сон и становился вспыльчивым и неуправляемым. Фридрих Великий же сам подробно описывал свои болезни в письмах друзьям и Вольтеру, нередко с иронией. Макалпайн и Хантер обращают внимание на повторяющиеся описания болей, расстройства пищеварения и слабости, которые встречаются у обоих монархов. Эти случаи они расценивают как еще одно свидетельство существования той же наследственной болезни, которой, по их мнению, страдал Георг III.

Власть способна разрушать психику

Следующие два примера неморализаторского описания безумия в правительстве я обнаружил в книгах психиатра и бывшего политика Дэвида Оуэна. О нем я узнал случайно, слушая старые подкасты из архивов Королевского колледжа психиатров, где он со знанием дела рассуждал о том, как психологические и физические недомогания политиков влияют на ход истории. В 2007 году у Оуэна вышла книга «Синдром высокомерия: Буш, Блэр и опьянение властью»². Она является частью более крупного исследования. Спустя год автор опубликовал значительно более объемную книгу «История болезни. Недуги мировых лидеров последнего столетия»³. В нее вошел переработанный материал о «синдроме гордыни» (гибрис-синдром) и анализ влияния состояния здоровья политических лидеров на ход мировой истории. Оуэн считает, что физические заболевания, психические расстройства и последствия медикаментозного лечения имеют прямое политическое и социальное значение. В этой книге Оуэн рассматривает руководителей, чье состояние здоровья напрямую влияло на государственное управление.

*Физические заболевания
имеют прямое политическое
и социальное значение*

В 1956 году Энтони Идену, премьер-министру Великобритании, пришлось искать выход из Суэцкого кризиса на фоне многолетнего ухудшения здоровья, вызванного неудачной операцией. Он отдавал распоряжения, одновременно принимая сильнодействующие препараты. Оуэн полагает, что болезнь, истощение и лечение могли снизить когнитивные функции Идена и повлиять на число принятых им импульсивных решений.

² Owen D. The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power. London: Politico's, 2007.

³ Owen D. In Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Years. London: Methuen, 2008.

Джон Кеннеди, президент США, страдал от сильных болей в спине и проходил сложное медикаментозное лечение во время операции в заливе Свиней. По мнению Оуэна, медикаменты могли повлиять на его способность к анализу политической ситуации. К моменту начала Карибского кризиса лечение стало более щадящим, состояние спины заметно улучшилось, и решения президента стали более взвешенными. Этот контраст Оуэн считает одним из наиболее убедительных примеров того, как здоровье может влиять на эффективность решений политического лидера.

Президент США Вудро Вильсон после тяжелого инсульта был частично недееспособен, и это скрывали от общества. Доступ к президенту контролировали его жена и ближайшие советники. Тяжелое сердечно-сосудистое заболевание Франклина Рузвельта в последние годы Второй мировой войны также старались не предавать огласке. Уинстон Черчилль продолжал руководить страной, несмотря на эпизоды глубокой подавленности, сильное истощение, пневмонию, инсульты и проблемы с сердцем. Оуэн анализирует сердечные заболевания Дуайта Эйзенхауэра, упадок здоровья Мао Цзэдуна и старческое увядание Леонида Брежнева. Отдельное внимание уделено возможным ранним признакам когнитивных нарушений у Рональда Рейгана и алкоголизму Бориса Ельцина. Все эти примеры, по мнению автора, указывают на одну проблему: даже самые развитые современные общества не располагают надежными механизмами, которые позволяли бы вовремя определить, способен ли глава государства продолжать исполнять свои обязанности.

Для российского читателя более интересной может оказаться книга «Синдром высокомерия», посвященная тому, как власть способна разрушать психику. Оуэн описывает гибрис-синдром (от древнегреческого «гибрис» или «хюбрис» — гордыня) как сочетание нескольких характерных признаков. Лидер, который еще недавно был рад служить обществу согласно конституции, вдруг начинает использовать власть ради собственной славы и печется о своем образе, о том, как его имя «отзовется в веках». Он начинает отождествлять свою личную историю с историей государства и постепенно начинает верить, что за свои действия отвечает не перед партией и избирателями. В роли истинных оценщиков его деяний выступают Бог, история, нация и т.п. В его речи появляются поэтические и эзотерические ноты. К другим признакам синдрома относятся нечувствительность к критике и ощущение неограниченных возможностей. Часто возникает сильное стремление к изоляции от людей с иной точкой зрения. Лидер, пораженный гордыней, как считает автор, все меньше интересуется практическими деталями и все больше — «великим замыслом». Проекты становятся все масштабнее, их осуществление — все хуже и хуже. Оуэн подчеркивает, что далеко не каждый политик проходит этот путь. По его мнению, Трумэн, Эттли, Эйзенхауэр, Картер, Каллаган, Мейджор и Буш-старший сохраняли компетентность

до конца пребывания на посту главы государства или правительства. Вероятно, этому помогали развитая самоирония и искреннее уважение к демократическим институтам.

Историю Маргарет Тэтчер автор приводит как пример разрушительного воздействия власти. В начале карьеры Тэтчер была решительной и готовой рисковать. При этом она не была импульсивной. Самые смелые ее проекты были результатом расчета, вполне холодного. В ее кабинете присутствовали министры, которые были способны спорить с ней, критиковать ее, не соглашаться. Тэтчер осторожно приветствовала несогласие с собой. Если аргументы были убедительными, она могла поменять свое мнение. После серии громких успехов ситуация изменилась.

Победа в Фолклендской войне, экономический рост и три подряд успешные избирательные кампании резко усилили ее веру в собственную исключительность. Тэтчер начала избавляться от несогласных советников, игнорировать

*Историю Маргарет Тэтчер
автор приводит
как пример разрушительного
воздействия власти*

мнение министров. К концу премьерства Тэтчер ее поведение все чаще вызывало тревогу даже у ее собственных сторонников. Один из рядовых депутатов-консерваторов заявил, что она «съехала с катушек» и ее впору увозить в психиатрическую больницу. Один из министров сообщил журналисту, что премьер «сошла с ума, совершенно сошла с ума».

Оуэн приводит эти резкие высказывания не как медицинские заключения, а как свидетельства того, насколько сильно коллеги чувствовали оторванность Тэтчер от настроений в партии. Перелом наступил после отставки Джеффри Хау — многолетнего ближайшего соратника Тэтчер, бывшего министра финансов, министра иностранных дел и на тот момент заместителя премьер-министра. В своей речи в палате общин Хау обвинил политика в том, что она делает работу министров невозможной. Он сравнил положение кабинета с командой игроков в крикет, чей капитан ломает биты перед началом матча. Речь Хау помогла оформиться недовольству внутри партии и подтолкнула консерваторов к выступлению против своего лидера. Менее чем через месяц Тэтчер была вынуждена уйти в отставку. Оуэн считает практически идеальным примером работы демократических ограничителей.

Большая часть книги посвящена Джорджу Бушу — младшему и Тони Блэру. По мнению Оуэна, и тот и другой оказались жертвами гибрис-синдрома и наделали много ошибок. У Блэра мессианские нотки появились в 1999 году. После победы на выборах 2001 года они усилились и переросли в синдром после событий 11 сентября. Траектория Буша была менее изогнутой. До терактов он вел себя как относительно осторожный и даже изоляционистский политик. Затем под давлением чрезвычайных обстоятельств начал воспринимать себя как лидера всемирной борьбы добра со злом. В вопросе Ирака оба политика шаг за шагом

отказывались от прагматического подхода в пользу идей, в основе которых была не аналитика, а избыточная уверенность политиков в себе. Автор не считает, что Буш и Блэр были нездоровы. Их ошибки имели ту же природу, что и ошибки Тэтчер, а также многих других лидеров до них.

Общее понимание гордыни Оуэн взял из уроков античной литературы. В древнегреческой трагедии высокомерие (хюбрис) часто является причиной падения героя. Судьбы Эдипа, Агамемнона, Креонта и других героев служили предостережением. Власть и большой успех ослепляли героя, лишали его способности здраво оценивать ситуацию и в конечном итоге приводили к катастрофе. Древние авторы рекомендовали своим читателям быть особенно осмотрительными в момент наи-

*Чем ярче успех, тем сильнее
может быть слепота от него
и тем ужаснее может быть
расплата*

большого успеха. Чем ярче успех, тем сильнее может быть слепота от него и тем ужаснее может быть расплата. Восприятие успеха как опасности — одно из важных открытий античных авторов. И очевидно, пессимистич-

ное. Мир, в котором твоя самая яркая победа является приглашением к твоему самому тяжелому поражению, не выглядит приветливым.

Идея успеха как опасности нравится Оуэну. Наблюдая за современными государственными лидерами, он приходит к выводу, что античное понятие точно описывает изменения личности, которые иногда возникают после длительного пребывания у власти. В заключение Оуэн подчеркивает, что ни физическая болезнь, ни склонность к депрессивным состояниям сами по себе не делают человека неспособным руководить государством. Многие лидеры успешно справлялись со своими обязанностями, несмотря на физические и психологические страдания.

В то же время в истории есть примеры, когда совершенно здоровые политики становились жертвами «интоксикации властью». По мнению автора, главную опасность представляет сочетание чрезмерной концентрации власти и отсутствия механизмов контроля со стороны общества. Оуэн считает, что решение проблемы следует искать в совершенствовании архитектуры власти. Нужно больше прозрачности в вопросах здоровья руководителей. Избиратели должны знать, в каком состоянии находится человек, который принимает важнейшие решения об условиях их жизни. Нужны гарантии независимости врачей, занятых здоровьем первых лиц. Нужны понятные, публично озвученные процедуры передачи полномочий. Нужен сильный парламент и сильный кабинет министров. Нужна независимая пресса и нужны ограничения на срок пребывания у власти. Только при наличии этих условий у общества есть шанс вовремя сменить «испортившегося» лидера на такого, который может исполнять обязанности достойно.

TABLE OF CONTENTS

No. 3 (102) 2026

TO THE READER

- I Don't Want People to Breed Hatred
for One Another
Lena Nemirovskaya 5

FEATURE ARTICLE

- Global World Disorder, Resilience
and Civic Agency
Álvaro Gil-Robles 8
- If We're Acting for the Result, Maybe We
Shouldn't Even Start
Hakan Altınay 17
- On Constitutions and Their Importance
Miguel Beltrán de Felipe 23

CIVIC SOCIETY

- Why Democracy?
Valdis Birkavs 34

DEMOCRATISATION

- The Transit to Democracy
Kirill Rogov 44
- Spain Facing the Ultra-Right Menace
Pilar Bonet Cardona 64
- The Black Hole of the Spanish Transit:
A Non-Reformed Judicial System
José Manuel Gómez Benítez 69
- Democracy Is the First Victim of Silence
Zelimkhan Yakhikhanov 77

HUMAN RIGHTS

- Can Global Order Be Based
on the International Law?
Nils Muižnieks, Gleb Bogush 79

THE PROBLEM WITH AI

- The Mindless AI
Yuri Senokosov 99
- Are We Entering the Second Axial Age?
How Can Humanity Survive in the Era
of Artificial Intelligence
Otto Scharmer, Greg Twemlow 101
- The Autonomous Battlefield:
What War Looks Like Now
and What It Means for All of Us
*Nathan Gardels, Eric Schmidt,
David Petraeus, Isaac Flanagan* 106

HISTORIC EXPERIENCE

- The Two Never Again(s)
Diana Pinto 110
- Peasants into Golems
Mykhailo Minakov 118

DISCUSSION

- On the Evolution of Legal Awareness
Gleb Bogush 125

BOOKS

- A History of Poisoned Russian Minds
Andrew Cowley 128
- The Counterpoint**
Power and Morals
Maxim Goryunov 131

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Главная тема:

МИРОВОЕ ПРАВО

Наши авторы:

Хакан Алтынай

Валдис Биркавс

Максим Горюнов

Василий Жарков

Руслан Лошаков

Михаэль Мертес

Анатолий Михайлов

Нилс Муйжниекс

Диана Пинто

Кирилл Рогов

Владимир Рыжков

Нина Хрущева

Алекс Юсупов

ISSN 2592-897X

Просвещение – это выход человека из состояния
своего несовершеннолетия... причина которого
заключается не в недостатке рассудка,
а в недостатке решимости и мужества
пользоваться им без руководства кого-то другого.
Sapere aude! – имей мужество пользоваться
собственным умом! – таков, следовательно,
девиз Просвещения.

Иммануил Кант
“Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?”